

А. П. БАЖОВА-ГАНДАР

о.

Б.16

83.3 м?

ДОМ НА УГЛУ

ВОСПОМИНАНИЯ
О МОЕМ ОТЦЕ

8912Н+✓✓✓



Средне-Уральское
Книжное Издательство
Свердловск, 1970

ОТ АВТОРА

Я не литературовед и не писательница. И я не стремилась написать биографию Павла Петровича Бажова или исследование о его творчестве. Просто мне довелось 25 лет прожить рядом с моим отцом, для меня удивительным и неповторимым человеком. И мне хочется рассказать, каким он был для меня, для моих сестер, моей мамы, каким он был дома и в нашем саду, каким был в обществе друзей, в семейном кругу и в одиночестве.

Надеюсь, что эти заметки напомнят тем, кто его знал, какие-то знакомые черты Павла Петровича, а тем, кто никогда не встречал его, помогут восполнить образ писателя, который сложился из чтения его сказов.

А. БАЖОВА-ГАЙДАР



Первые мои воспоминания об отце — это память о его бороде, от которой пахнет табаком, уютных его коленях, на которых «поехали, поехали, шагом, шагом, рысью, галопом, нырок!». «Нырок» был самый веселый, а «рысь» самый приятный шаг...

Более отчетливое воспоминание. Отец вернулся после длительного отсутствия. Вероятно, это был 1929 или 1930 год, когда он работал в «Крестьянской газете» и часто по заданию редакции выезжал в Байкаловский, Арамильский, Баженовский и другие районы. То он едет обследовать работу селькоров, то в Ирбитский округ. Как я теперь понимаю, в этих поездках он попутно собирал материал для книги «Пять ступеней коллективизации» и поэтому задерживался подолгу.

Без отца скучно, как будто дом заснул. Мама делает все, как и всегда, но невесело, старшие сестры без отца совсем не бывают дома — то в институте, то на субботнике. Всегда у них находятся неотложные дела.

И вот, наконец, ночью я просыпаюсь от шума голосов в соседней комнате, слышу глуховатый голос отца, его кашель. Мне хочется туда, хочется обнять отца и участвовать в общем веселье, но нельзя, ведь глубокая ночь, я должна спать. Тогда я начинаю плакать горько и безутешно — и чем горче, тем громче. Раздаются быстрые отцовские шаги, ласковые руки заворачивают меня в одеяло. И вот мы ходим по комнате, на руках так уютно, и отец рассказывает о хуторах, на которых он останавливался, о людях, которых встретил в пути, о том, как пахнет свежеспаханная земля, и горе мое уходит, на душе становится легко и ясно, и с ощущением полного счастья я засыпаю.

У меня было очень счастливое детство. Оно не омрачалось ни чрезмерной строгостью родителей, ни ссорами в семье, ни одиночеством, ни обидами со стороны старших братьев и сестер. В доме всегда царили дружба, справедливость, взаимопонимание. Главой дома был отец, хотя казалось, что он ни во что не вмешивается и всеми нашими делами и заботами руководит мама. Он всегда был самым тихим человеком в доме. Никогда не кричал, не командовал, не шумел, не сердился, не распоряжался, но почему-то все в доме поступали так, как он считал нужным.

— Я думаю, с этим еще надо подождать, — говорил отец спокойно в ответ на мое твердое решение, принятое в 13 лет, стать актрисой.

— Ты еще подумай. Актрисы-героини из тебя не выйдет. Не та у тебя внешность, чтобы играть Анну Каренину, да и рост маловат. Разве ты бы хотела всю жизнь играть комических старух?

То, что он говорил, было обидно, но справедливо и заставляло задуматься гораздо больше, чем окрик или запрет.

— Я думаю, эту книгу читать не стоит. Она пустая,

только время зря потеряешь. Прочти лучше вот это...» И предлагал что-то очень интересное и еще не читанное. Помню, так он впервые привнес мне Ростана «Сирано де Бержерак», а вслед затем собрание его сочинений. Действительно, это было настолько интереснее и ярче того, что я только что читала, что надолго вытеснило все другие впечатления. В выборе литературы он гораздо меньше считался с возрастом, чем с ее качеством. Единственное мерило, которым он руководствовался: плохую литературу не надо читать ни в каком возрасте, и особенно в детском, когда закладываются представления об основных понятиях, формируется вкус.

Два русских писателя всегда были предметом восхищения, поклонения и удивления отца — Пушкин и Чехов.

«Вот у кого учиться слову! — говорил он о Чехове. — У него всегда изумительное богатство деталей. Они внешне пустяковые, а за ними гамма переживаний. Видите людей живых, с их привычками, прошлым и настоящим. Чехов скрупульто ставил, но уж поставил — не уберешь, крепко сделано.

Всегда меня поражало его скрупультое словоупотребление. Ведь одним лишь словом Чехов выражает все, одно слово — и человек обрисован: «А у нас Пересолиха! А мы Пересолиху по зубам!»

...Деталь у Бунина тоже изумительна, но как-то чувствуется, что человек ее искал и вот нашел. А у Чехова спокойно, тонко, а ни прибавить, ни изменить: естественная деталь... Чехов для меня фигура несознательная, почти стихийная. Порой кажется, что он многое делал по интуиции. Присел вот к столу на часок, на два и написал «Шуточку», заключив в этой капельке сложнейший вопрос человеческих взаимоотношений...

...Ведь у Куприна, даже у Бунина, все-таки можно узнать, как это делалось, а у Чехова, особенно до его

«хмурого» периода, никаких концов не видно. Что это? Высшая ступень искусства или то, что называется на- итием?»

Когда отец возвращался домой с работы, все спешили ему навстречу. Первым, заслышав знакомые шаги, приносился к дверям отцовский любимец — огромный лохматый пес Ральф. Бросив шипящую сковородку, спешила навстречу улыбающаяся мама, высакивали из-за чертежных досок будущие инженеры Ольга и Елена, с трудом переставляя больные ноги, тяжело шагала бабушка, Екатерина Васильевна, а я бежала вместе со всеми своими друзьями, казаками-разбойниками, даже Алеша, который всегда у нас был «на особицу», выглядывал из своей маленькой комнатки.

Отец медленно поднимался на крыльце, целовал маму, спрашивал у сестер:

— Сколько осталось? (У них вечно истекали сроки сдачи чертежей.)

— В городе сегодня жара, Екатерина Васильевна, — сообщал он бабушке.

— А... сегодня Егор Степаныч здесь, выздоровел? — ерошил он волосы моему семилетнему другу.

— Держи-ко, Алеша, это тебе, — он протягивал свернутую в колечко струну. Алеша в то время учился играть на мандолине.

Наконец и до Ральфа доходила очередь. Получив свою долю внимания, он с деловым видом спешил во двор и лаял без всякой надобности, демонстрируя хозяину свою ответственность за порученное дело.

С приходом отца все в доме ожидало. Пока он мыл руки и переодевался, мама быстро заканчивала обеденные приготовления, все садились за стол. Отец всегда чисто вымытый, с причесанной бородой, спокойный и внимательный. Обед на столе, но никто не берет в руки ложки,

пока не возьмет отец. А он не начнет есть, пока не сядет мама. Никто такого закона не устанавливал, никто бы не рассердился, если бы его нарушили, но он существовал, он стал привычкой. Наверное, это пришло в наш дом от старых заводских традиций. Вероятно, так было в рабочей семье Бажова-отца, Бажова-деда и прадеда.

Я была последним, седьмым, ребенком в семье. Когда я появилась на свет, отцу было 46 лет и основная часть его жизни прошла до меня. О ней я узнавала только по рассказам его и мамы, по воспоминаниям старших сестер и брата.

Помню, как впервые поехала с родителями в Сысерть, на родину моего отца. Очевидно, это был год 1933—1934-й, вскоре после того, как вышла книга, над которой отец работал по заданию Испарта, — «Бойцы первого призыва». Очевидно, деньги, полученные за книжку, и позволили нам втроем поехать на лето в Сысерть, куда отца давно тянуло. Я, наконец, увидела любимые им края, рассказы о которых слышала с самого раннего детства.

В те годы отец еще не был автором «Малахитовой шкатулки», и родственников в Сысертти у нас не нашлось, кроме древней старушки Натальи Павловны, которая и сдала нам чуланчик без окон, потому что «горница была уже занята». Но мы были этому очень рады, так как достатки у нас были скромные, горница нам была не нужна, а чуланчик очень подходил, тем более, что в нем было прохладно, а дом стоял на краю заводского поселка. Лес и пруд были рядом. Там мы и проводили все время.

— Сегодня мы пойдем на княженичные горки, — говорил отец, и мы шли мимо пруда, через лес, по тропинкам в самую глушь леса. Там по одному ему известным приметам отец находил низину с невысокими горками на ней. Они были усеяны редкой ароматной ягодой княженикой.

На следующий день мы попадали в царство лесных ор-

хидей, а наутро меня ждало новое удовольствие: мы пристраивались с удочками на берегу Сысертского пруда. Из-под светлой папиной кепки по лбу и усам стекали капельки пота, но он ничего не замечал — все его внимание сосредоточивалось на поплавке. Он явно наслаждался проходящим; были ему милы и эта тишина, и неподвижность воды, и горячее солнце, и родной аромат его детства.

После полудня, когда одолевала жара, уходили на Бесеную гору, расстилали одеяло и по очереди читали сказки Гофмана. Из сказочного, впервые мне, городскому ребенку, открывшегося мира старых уральских заводов я переносилась в мир дождей и драгаресс, следила за приключениями крошки Цахес. Иногда мы просто лежали на спине и глядели, как бегут облака, похожие на причудливые цветы, на длинноволосых красавиц, экзотических птиц, и тихо говорили. Часто мы смотрели на заводской поселок, хорошо видный с горы, и отец рассказывал мне про те места, где прошло его детство: улица Шиповая, Пеньковка...

— А вот ту поскотину видишь? Так вот там однажды...



Отец любил вспоминать свое детство. Он родился 15 (27) января 1879 года¹ в Сысертском заводе Екатеринбургского уезда. Отец его, Петр Васильевич, был высококвалифицированный рабочий пудлингово-варочного цеха. Мать, Августа Степановна, была человеком мягким и добрым, с золотыми руками. Росла она сиротой, жизнь прожила тяжелую, всегда была в работе, и все у нее в руках спорилось. В детстве в барской мастерской она выучилась трудному ремеслу ажурной вязки, и это было серьезным подспорьем для семьи, особенно в те годы, когда Петр

¹ В семье день рождения Павла Петровича отмечали 28 января.

Васильевич из-за своего неуживчивого характера оставался без работы. Дом был опрятным и чистым, еда вкусной. Избытка в семье не было, но ремесло матери и огород, которым занималась бабушка, позволяли не бедствовать. Характер у матери был тихий и ласковый, бабушка души не чаяла во внуке, а отец был ровен и справедлив, но не баловал единственного сына. Игры, забавы, рыбная ловля, походы за грибами и ягодами сначала в Сысертском, потом Полевском заводах, сказки дедушки Хмелинина, каравульного на Думной горе, лес — как дом, пруды и речки — как друзья и помощники окружали Павла Петровича в детстве.

Учеба в начальной школе, чтение книг постепенно открыли перед ним мир более широкий и интересный, чем тот, который он знал и который кончался дальним берегом пруда, поскотиной и синеющим вдали лесом. Он узнал, что на свете существуют дальние страны, большие города, перед ним открылся прекрасный мир поэзии.

— Если бы не Пушкин, я бы так и остался заводским пареньком с четырехклассным образованием, — рассказывал отец.

В руки одиннадцатилетнему Бажову попал первый том сочинений Пушкина. Учитель дал книгу из своей библиотеки и пошутил:

— Когда выучишь первый том, приходи за другим.

Мозг был жаден, память крепка, и, очарованный пушкинскими стихами, мальчик через несколько дней, возвращая книгу, мог прочесть ее на память, хотя начинался первый том произведениями, не очень понятными заводскому парнишке. Так за первым последовал второй и третий и последующие тома. С тех пор и до конца жизни Бажов пронес неувядающее восхищение пушкинским стихом и пушкинской прозой, его замечательными сказками, которые считал образцом подлинной народности, умением гения

проникнуть в существо народных сказочных поэтических образов.

— А потом,—рассказывал отец,— Пушкин помог мне получить образование. Приехал в Сысерть из Екатеринбурга ветеринарный врач, известный краевед и просветитель Николай Семенович Смородинцев, ему рассказали о способном мальчике из рабочей семьи, который «всего Пушкина назубок знает». В значительной мере благодаря стараниям Смородинцева, Бажов в 1889 году поступил в Екатеринбургское духовное училище. О своей учебе в Екатеринбурге, о встречах с людьми Бажов рассказал в автобиографической книге «Дальнее — близкое». Мечтал он написать об этом периоде жизни повесть — продолжение «Зеленої кобылки», было для нее придумано и название: «Крашеный панок», и сколько я помню себя, панок стоял на книжной полке отца, тот самый, который приносил ему победу в сражениях на сысерских улицах в дни детства, но повесть не написалась...

Петр Васильевич умер в 1896 году в возрасте 43 лет. В то время Павел Бажов уже учился в Пермской духовной семинарии, куда поступил сразу после окончания Екатеринбургского духовного училища в 1893 году. Чтобы продолжать учебу и помогать матери, оставшейся без средств к существованию, надо было работать. Бажов занимается репетиторством, переводами, корректурой, поездками с помощью того же Смородинцева на эпизоотию животных.

О годах учебы отца в Пермской семинарии знаю мало. Почему-то об этом времени он никогда не вспоминал и не рассказывал. Знаю только, что он три года был библиотекарем подпольной семинарской библиотеки, где были

П. П. Бажов в юности



Маркс, Прудон, Кропоткин, Лавров и Чернышевский. Вместе с другими участвовал в беспорядках, когда добивались ухода одного из помощников инспектора (Пославского), помогал устраивать маевки за Камой, принимал участие в школьном кружке «Наше слово». Впервые в эти годы он познакомился с трудами К. Маркса, читал ранние работы В. И. Ленина.

Окончил он семинарию в числе лучших, и ему, как способному ученику, предложили ехать учиться в духовную академию, обещая высокую стипендию. Для него, сына рабочего, это означало обеспеченность, а в будущем высокий духовный сан, уважаемое положение в обществе. Но Бажова никогда не прельщала духовная карьера. Духовное образование он получил только потому, что это был для него единственный возможный путь к образованию.

Кончался XIX век, уже была образована партия рабочего класса, уже широко распространились ленинские работы, назревала в России революционная ситуация, и все это не мог не чувствовать выходец из заводского поселка, внук и сын уральских рабочих — Павел Бажов.

Он категорически отказался от настойчивых предложений и был назначен учителем начальной школы в глухую уральскую деревню Шайдуриху из 30 домов, с пометкой в характеристике: «по запросу». Это помешало ему продолжить образование и поступить, как он мечтал, в Томский университет. Ему было отказано даже в праве сдавать экзамены экстерном.



В 1901—1911 годах Бажов преподает в Екатеринбургском духовном училище арифметику, русский язык, литературу, чистописание, принимает участие в работе учительского совета, в общегородских митингах тех лет. На одном

из митингов в зале Маклецкого знакомится с Я. М. Свердловым. В июне — сентябре 1905 года оказался на Сысертском заводе во время экономической забастовки.

— В экономической забастовке рабочих Сысертского завода, начавшейся в летние месяцы 1905 года и продолжавшейся почти до конца года, есть доля и моего участия,— писал он позже в автобиографии.

В результате после возвращения в Екатеринбург вынужден был «как принимавший участие в недозволенных событиях» покинуть мужское Екатеринбургское духовное училище и перейти учителем в женское епархиальное училище.

Здесь он узнал и полюбил одну из своих учениц скромную девушку с длинной черной косой, Валентину Иваницкую, на которой и женился в 1911 году. Еще до этого он перевез из Полевского свою мать, и вся семья поселилась в небольшом деревянном домике, низко осевшем над землей на Болотной улице. Бабушка успела понянчить своих внуков и внука. Августа Степановна умерла внезапно, в возрасте 50 лет, оставив о себе память как о спокойном, кротком и трудолюбивом человеке.

Преподавательская работа, семья, дети, занятия литературной работой, поездки на велосипеде по горнозаводским поселкам, начало работы над картотекой, работа в архиве над документами по истории восстания Е. И. Пугачева, самостоятельное изучение французского и немецкого языков, попытки поступить хотя бы на заочное отделение одного из университетов страны. Так, наверное, и текла бы жизнь П. П. Бажова, если бы не события, которые будоражили страну, если бы не нараставшая революционная волна. Она подхватила и понесла Бажова в нужном и единственном возможном для него направлении.

В 1914 году Бажов с семьей переехал в Камышлов. Здесь его и застала Февральская революция. Бажов писал

об этом времени: «В дни так называемых «свобод» я принимал участие в массовых мероприятиях, общегородских собраниях, но ни к одной из основных партийных групп того времени не примкнул, сохраняя свою экзотическую позицию... (анарха-народника)».

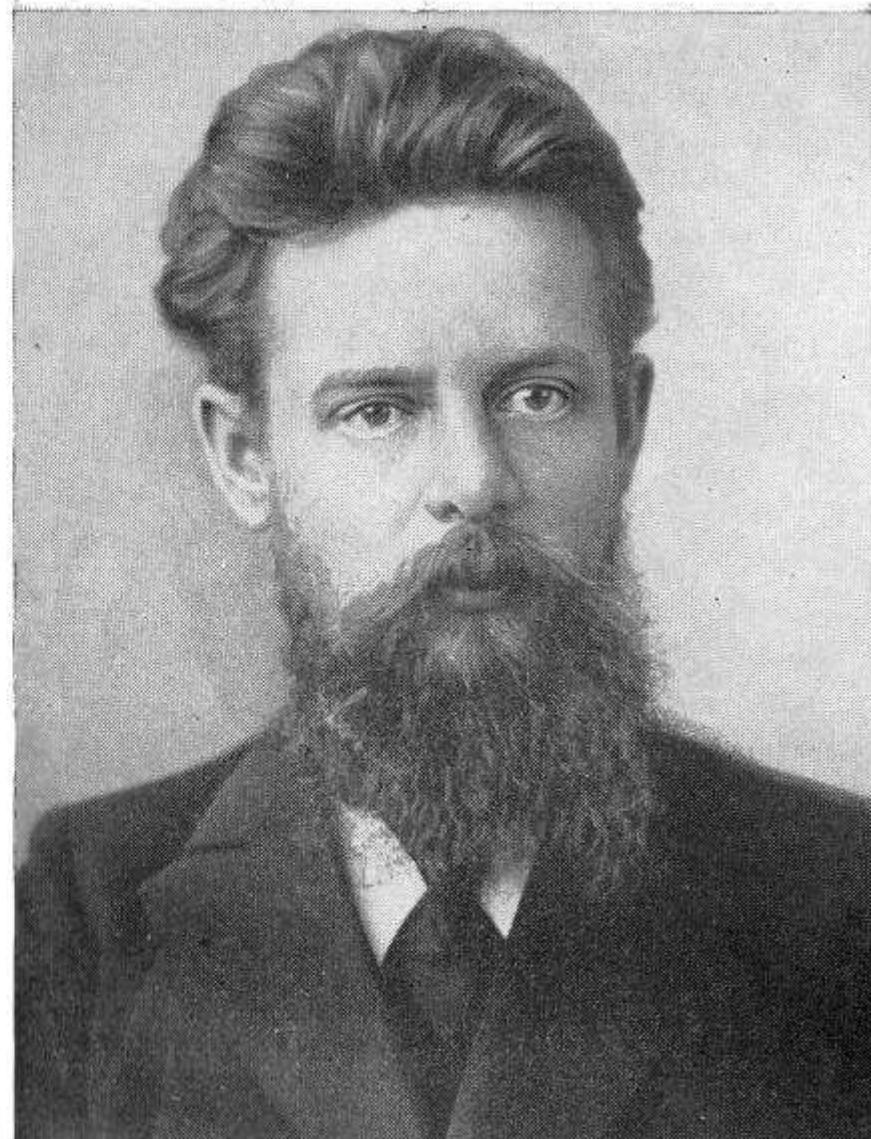
Активно участвовал в работе учительского союза. В ноябре был арестован и просидел в арестантском помещении полмесяца. Принимал участие в школьно-общественной жизни. Словом, вел себя как типичный демократ-разночинец, не связанный ни с одной из партий, называл себя анархо-народником.

«В условиях Камышлова я был основным работником по созданию Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и первым председателем исполкома. Причем против создания такого Совета в первую очередь возражали эсеры, в интересах которых было изолировать крестьянство от рабочих. Не особенно охотно шли на это и представители большевиков, боясь растворить малочисленную рабочую группу в крестьянском большинстве. Зато очень охотно поддержала это предложение солдатская группа, и это оказалось правильным.

Я даже в свой актив вписывал, что в результате свое временной организации Совета в таком именно составе нам удалось послать на 1-й Всероссийский крестьянский съезд двух делегатов, которые голосовали с В. И. Лениным в числе тех одиннадцати, которые отмечены в документах съезда.

Здесь же в городской управе, где я был возглавляющим, образовалась из президиума компактная группа в составе четырех: меня, Т. И. Сыкова, Н. А. Удникова и

П. П. Бажов. 1911 г.



П. П. Краснова, которые, по сути дела, работали по заданиям большевистской организации.

Было бы неверно утверждать, что я во всех случаях в это время шел с большевиками, но, как видно, общая сумма моей работы была определенно на этой стороне. Эти... я объясняю, что когда на съезде 26 июля 1918 года на меня, тогда уездного комиссара просвещения, усиленно нападали эсеры и, когда все они, и правые, и левые, отказались от работы, я остался и получил назначение на должность ответственного редактора «Известий», что я считаю по условиям того момента совершенно отчетливым показателем определенного доверия ко мне.

Дальнейшая работа на фронте, откуда исчезли левые эсеры, а правые оказались по ту сторону баррикад (я говорю о камышловской организации), точно показывает, что я занимал совсем другое положение».

1 сентября 1918 года Павел Петрович Бажов вступает в ряды РКП(б). С тех пор он навсегда связал свою жизнь с революцией, социализмом, с Лениным, с борющимся и побеждающим народом. Уже через месяц после вступления в партию Бажов — на фронте. Он — редактор «Окопной правды», заведующий информацией 29-й дивизии, секретарь партийной ячейки при штабе дивизии.

О временах гражданской войны отец рассказывал часто. Прекрасно помню грамоту — большую красивую, которую он вынимал из папки, лежавшей в высокой конторке, бережно расправлял и говорил:

— Вот почитай-ко.

«В день ознаменования 10-й годовщины освобождения Урала от Колчака,— было написано в ней,— вас, как активного участника в строительстве Красной гвардии и Красной Армии, как энергичного борца за Урал, Свердловский окружной исполнительный комитет Советов награждает настоящей грамотой. Советская общественность надеется,

что вы на всех этапах развития революции, как и в годы борьбы с колчаковщиной, будете в первой шеренге бойцов за социализм и мировую Республику Советов.

Президиум Свердловского окрисполкома, 15 июля 1929 года».

Таким же дорогим, как и эта грамота, было для меня имя Василия Даниловича Жукова. Он был для меня тем героем двадцатых годов, о которых поется в наших революционных песнях,— молодой, красивый, смуглолицый, бесстрашный — всегда готовый и на шутку, и на подвиг, ненавидевший свою малограмотность «как классового врага» и стремившийся к знаниям!

Павел Петрович познакомился с ним еще в годы империалистической войны, когда примкнул к группе революционно настроенных рабочих, организованной слесарем вагоноремонтных мастерских В. Д. Жуковым и старым большевиком, сосланным в Камышлов за революционную деятельность, П. Н. Подпориным. Группа налаживала связь с рабочими завода и мастерских, солдатским гарнизоном, крестьянами уезда. После победы Великой Октябрьской социалистической революции на первом же заседании исполкома, избранного уездным съездом Советов, который взял власть в свои руки, Жуков был назначен военным комиссаром. Когда Бажова, члена уездного исполкома и комиссара просвещения, принимали в РКП(б), не все были «за», некоторых смущали его «галстук и белые руки», но Жуков энергично отстаивал кандидатуру. «Его белые руки нам не помеха, а вот его знания и ум нам пригодятся!» По предложению Жукова Бажову было поручено эвакуировать из Камышлова в губернский город золото и денежные документы на несколько миллиардов.

Благодарную память о В. Д. Жукове отец сохранил навсегда. Тридцать лет спустя после окончания гражданской войны он писал дочери Жукова:

Полевской

2 Бажова-Гайдар

— Спасибо вам за письмо. Оно живо напомнило мне трудные, но прекрасные дни гражданской войны и тех изумительных представителей пролетариата, которые, будучи сами неграмотными и малограмотными, открыли мне, интеллигенту того времени, правильный путь в жизнь. В первом их ряду для меня был и остается Василий Данилович.

Об этих днях Бажов вспоминал:

— Общая обстановка тогда была жуткая. Черное кольцо, замыкавшее Республику Советов, становилось, все тесней и тесней... Единственным утешением был Запад, где тогда загорались огни революции. Освобождение из тюрьмы К. Либкнехта, демонстрация в Берлине под лозунгом «Да здравствует Ленин!», распад Австро-Венгрии, объявление Болгарской республики — все это давало надежду на близкую помощь пролетариата Запада.

Вблизи же безразлично постукивал аппарат, и на бумаге появлялись далеко не безразличные слова: «В северном направлении замечено обходное движение. Срочно шлите подкрепление...»

Давалась неразрешимая задача — послать подкрепление из несуществующих резервов.

— В восточном направлении чехословаки переходят в наступление. Поезд с продовольствием еще не пришел.

Он и не придет никогда. Вместо поезда отправлены лишь два вагона, где погружены последние крохи продовольствия и праздничные подарки, здесь же разместились члены дивизионного бюро ВКП(б), и еще осталось много свободного места.

— Когда выслать бронепоезд с грузом? Надобность крайняя.

Опять неразрешимая задача: откуда взять снаряды, когда их нет. Такова была обстановка первой годовщины.

В эти же тяжелые дни он писал жене и детям:

«Валянушка! Родная моя, хорошая! Ребята! Где вы все? Что с вами? Как тяжело не знать этого! Хоть и уверяю себя, что ничего с вами не сделали, но полной уверенности все-таки не имею, и мне представляются картины одна другой безотраднее. Трудно, оказывается, быть политическим работником, оставив в таких условиях семью. Тяжело. Одно время я был уже совсем близко, только несколько верст отделяло меня от вас, но пришлось отступить. Ты все-таки не унывай, крепись и заботься о ребятишках. Все в них. У них все впереди. И для своих и для чужих ребят не могу согласиться, чтобы опять допустить владычество этого проклятого «денежного мешка». Его свалить — ничего не жаль. И все-таки свалим!

Из наших, которых ты знала, правда, многих нет, но на смену им приходят новые, и силы не слабеют, а крепнут, если не здесь, то в других местах. У меня все-таки уверенность, что к зиме будем в своем уезде, вернусь и я, если, конечно, уеду. Наши меня, правда, берегут, но случайности всякие бывают. Работы у меня, как везде и всегда, полно. Ею только и спасаюсь. Если выдается свободный час, то это всего хуже — все думаешь, что с тобой, с Алешкой, с девчонками. Ночи не сплю сплошь, а как-то это на меня мало действует, вошло, видно, в привычку. Но ты не бери с меня примера. Помни, что у тебя на руках трое малышей и у самой еще много осталось впереди. Не унывай, заботься о ребятах, жди меня. А если не случится возвратиться, не раскисай, не падай духом — у тебя дети. Помни мою последнюю просьбу — воспитай, как я говорил. Прощай, поцелуй ребят».

К зиме, как предполагал Бажов, ему не пришлось вернуться в родной уезд. И не к весне, и не к лету... а лишь через несколько лет...

Во время тяжелых боев с Колчаком под Пермью Бажов попал в плен, с помощью друзей-железнодорожников ему

удалось бежать. В Сибири, в городе Канске, под фамилией Бахеев он получает место учителя в селе Бергуль Биазинской волости Канского уезда (ныне Северного района Новосибирской области). Об этом периоде своей жизни он подробно рассказал в автобиографической повести «За советскую правду». В предисловии к этой книге он писал:

«Здесь нет выдумки. Иногда даже не изменены названия мест и действующих лиц. Оставшиеся в живых могут узнать себя. Время действия — февраль — апрель 1919 года».

А из рассказов отца об этом времени сохранились только самые яркие воспоминания. Он часто рассказывал о том, как было тяжело первое время, когда он — чужак — приехал в глухую старообрядческую деревушку в томском урмане, где люди подозрительны и неразговорчивы и не скоро узнаешь, где свой, где враг; как познакомился, а потом и подружился с учителем Антоном Павловичем Мацуком, веселым человеком, песенником и балагуром, и понял, что это свой. Как уже вместе нашупывали связи, как познакомились с большевиком, вернувшимся с фронта крестьянином Чубыкиным. Как стал создаваться партизанский отряд. Бездействие кончилось. «К началу весны берданок и трехлинейка насчитывалось в округе 87 штук, но патронов было мало», — пишет Бажов. Когда вскрылись реки, между Биазой и Межовкой раздались первые выстрелы. Партизаны уничтожили ненавистного колчаковца — начальника милиции Биазы, поручика Гаркушу и его помощника. Так отряд заявил о себе. В него потянулись все новые и новые люди. Вскоре весь север Канского уезда был охвачен пламенем восстания. Командующим партизанского отряда всей северной части Канского уезда был избран Иван Чубыкин, в состав штаба вошли Мацук и Бахеев.

Даже спустя много лет отец с гордостью и загоревшимися глазами рассказывал о том, как партизанам, плохо

вооруженным и обученным, удалось разбить посланный из Канска карательный отряд в 340 штыков. В сорока verstах от Межовки карателей встретили заранее предупрежденные партизаны и на узких лесных тропинках начисто разгромили хорошо вооруженных белогвардейцев, пополнив при этом свои запасы оружия.

Я не знаю, как воевал отец. Уж очень он мне всегда казался невоинственным, тихим человеком, но я знаю, что он принимал участие в этом бою под Межовской так же, как и во многих других боях, и знаю, что стрелял он метко.

В мае-июне 1919 года против партизанского отряда были брошены отборные колчаковские части. С боями партизаны отступали к Биазе и Межовке; когда кончились боеприпасы, отряд скрылся на островах среди болот и вновь развернул свою деятельность с приходом красных войск, а Бажов-Бахеев был направлен под видом страхового агента на Алтай.

Приехал он в Усть-Каменогорск в июне 1919 года, вскоре после того, как было зверски подавлено восстание узников усть-каменогорской тюрьмы. Надо было восстанавливать силы передевых большевистских ячеек.

С документами страхового агента невысокий человек в парусиновом пиджаке и темных очках мог появляться в любом месте, не вызывая подозрений. Он должен был осуществлять связь между партизанскими соединениями «Красных горных орлов». Он делал политинформации о положении на фронте и в стране, вручал партийные билеты тем, кому доверяли партийные ячейки. Он обездил и обошел весь горный Алтай и прииртышские степи, рудники, аулы, хутора, казачьи станицы, с изобретательностью, осмотрительностью и тактом выполняя под носом у колчаковцев подпольную работу, объединяя силы местного большевистского подполья с организациями массового партизанского движения в уезде.

И в это тревожное время он наблюдал жизнь, своеобразный уклад старообрядцев, настроения рабочих Риддерского рудника, быт алтайских крестьян. Он собирался написать об этих годах автобиографическую повесть, план-конспект которой хранится сейчас в доме-музее Бажова.

Заголовки глав или разделов дают некоторое представление о событиях тех дней:

«...32. На границе областей. Белогвардейские зверства. Бергалы и Караджал. Казачьи обходы. Приезд семьи. Опять у своих. Иртыш.

33. Перед началом. «Служебные» поездки. У кержаков. В Риддере. На Бухтарме. Слухи о Рубцовке. Молчанко застрелился. Разведка на Шемонаиху. Следователь по особо важным делам. Знамя креста и месяца. Жданов и Попов. «Иисусовы полки». Эвакуация Змеиногорска.

34. Беженцы с Урала. В мюнне. Киргизы-извозчики. В Китай и Монголию. Газетные известия. Среди крестьянского населения. Перемены казачества. В судском фраке и меховых штанах. Киргизское радио. Свалка в степи».

К концу 1919 года партизанские соединения «Красные горные орлы» крепнут и набирают силы. После освобождения Усть-Каменогорска Бажов в центре деятельности. «Когда в 1920 году была проведена в городе регистрация членов и сочувствующих Коммунистической партии,— пишет исследователь деятельности Бажова в Усть-Каменогорске Н. Раухалов,— было зарегистрировано 28 человек, имевших документы о принадлежности к Коммунистической партии. В том числе Бахеев-Бажов».

Бажов становится редактором, а по существу и организатором, и выпускающим, и метранпажем первой газеты «Советская власть». Одновременно ему вменяется в обязанность «сохранить общее наблюдение за работой отдела народного образования».

Он создает учительские курсы, организует школы по ликвидации неграмотности, принимает участие в восстановлении Риддерского рудника... В июле 1920 года в казахские волости посыпается 87 учителей, подготовленных с его участием.

10 августа 1920 года под руководством коммунистов предупарткома П. П. Бажова и предуревкoma Н. Г. Калашникова прошел Первый уездный съезд Советов. На съезде присутствовало 177 делегатов.



Долгое время семья ничего не знала об отце. Только в конце 1919 года ему удалось передать весточку в Камышлов. И моя мать, несмотря на охи и ахи родных, похоронив своего маленького сына и только встав на ноги после тяжелейшей болезни, собрала остальных трех детей и отправилась с Урала на Алтай в суровую сибирскую зиму.

Как они ехали, где ночевали, где замерзали, чем питались, с какими людьми встречались — все это я знаю так, как будто и я была с ними, потому что с самого раннего детства я слышала рассказы о тех трех годах жизни в Усть-Каменогорске.

Я как будто вижу отца в черных очках, без бороды, на пристани среди встречающих и слышу шепот мамы: «Это наш пapa, только не говорите об этом громко», будто вместе с мамой и старшими детьми сижу на широком подоконнике здания управбюро и всматриваюсь в тревожную темноту ночи, туда, где ходит всю ночь в патруле мой отец, я как будто тоже грызу сухую семипалатинскую колбасу, участвую в первых митингах после освобождения красными Усть-Каменогорска, оплакиваю друзей-большевиков, жестоко замученных белогвардейцами в Каркаралии-

ске, радуюсь вместе с мамой первым книгам первой библиотеки, выходу первых большевистских газет «Известия Ревкома» и «За власть Советов», которые редактирует отец, участвую с мамой в первых концертах, собираю с сестрами ветки цветущего багульника и альпийские маки. Вижу худое лицо отца, бьющегося в малярийном приступе, маму, возвращающуюся с «пайком повышенного типа» (банка зеленых маринованных помидор и кусок мыла), и вместе с Алешкой мечтаю о настоящем кожаном мяче...



В мае 1921 года заведующий информационным отделом Военно-революционного комитета общественной и политической организации, член Военно-революционного комитета, председатель уездного комитета РКП(б), редактор газеты «Известия Ревкома» и «За власть Советов», член Семипалатинского губернского комитета партии Павел Петрович Бахеев (Бажов) вследствие тяжелого заболевания и по просьбе Камышловского исполнкома возвращается в Камышлов.

Моя мать с тремя детьми и мужем, до крайности изнуренным малярией и тяжелой формой тифа, отправляется в обратную дорогу. Семья вернулась на Урал. Отца все радовало: и неяркое уральское солнышко, и запах соснового леса.

— Теперь и умереть не так обидно,— говорил он. О том, что отец «не жилец на свете», сказал маме, скорбно покачивая головой, камышловский земский врач, старый его друг. А отец просил об одном — выносить его в лес. В весеннем сосновом лесу он лежал часами без движения, глядел на деревья, слушал пение птиц... и постепенно стал поправляться. Семья ожила, повеселела.

Вскоре он уже снова работает, редактирует газету

«Красный путь» — орган Камышловского уездного комитета РКП(б) — и корреспондирует в «Крестьянскую газету» — орган Екатеринбургского обкома РКП(б). В октябре 1923 года он получает назначение на работу в «Крестьянскую газету» на должность ответственного секретаря. Семья возвращается в Екатеринбург.

Начинается длительный период работы Бажова в «Крестьянской газете»: крестьянские письма, поездки по уральским селам, сбор материалов, работа над книгами «Уральские были», «К расчету», «Пять ступеней колLECTIVизации», «Формирование на ходу».

«За годы своей газетной работы писал немало,— рассказывал отец,— но старался выбрать¹ лишь то, что приближается к литературной работе. Сюда, кроме очерков о колLECTIVизации уральской деревни, данных в виде путевых записей, отношу зарисовки деревенского быта 20—30-х годов. Таких зарисовок за подпись «Деревенский» помещено было в «Крестьянской газете» очень много... Иногда наблюдения над деревенской жизнью оформлялись в виде рассказов, печатавшихся с продолжением. Кроме работы для своей газеты, журналистам того времени приходилось обслуживать издававшийся при «Уральском рабочем» журнал «Товарищ Терентий». В этом журнале за подпись Старозаводского тоже помещались мои очерки: «Из поездки в Каслинский завод», «У мраморских кустарей» и другие.

Очерки по истории фабрик и заводов «Северные сукноделы», «Первый лесозавод», «Машинка на Азанке», связанные с историей Тавды, представляют запись рассказов рабочих. К этому же разделу отношу и «Туринское восстание».

¹ Павел Петрович подбирал материалы для сборника «Уральские были», вышедшего после его смерти в 1951 г.

Критические статьи за подписью Чипонева не столько рецензии, сколько протест против безответственных редакторов, выпускающих временами совершенно недопустимую халтуру».

Помню друзей отца, с которыми он работал в «Крестьянской газете».

Петр Абрамович Карьков был спокойный немноговорящий человек с рыжими волосами. В те годы он еще не был женат и часто проводил свой досуг в нашей семье. Он любил детей, и я часто пользовалась его коленями с такой же простотой, как и отцовскими. Часами я прислушивалась к их неспешному разговору о крестьянском урожае, письмах в газету, о политических событиях, о детях. Потом Петр Абрамович женился — и у него родился сын, и не было на свете более влюбленного мужа и отца. Внезапно его арестовали — и он исчез, исчез навсегда. Много лет спустя, когда уже стало известно и то, что он умер в ссылке, и то, что он ни в чем не виноват, мы сидели все вместе в его доме, его жена читала нам дневники Петра Абрамовича, за которыми вставал умный, наблюдательный и добрий человек, и глаза отца были печальными.

С учителем Петром Лаврентьевичем Велиным отец тоже подружился, работая в «Крестьянской газете». Потом Петр Лаврентьевич вернулся в школу преподавать физику, а отец так и остался журналистом, но дружба сохранилась навсегда, так же, как и с известным краеведом Андреем Андреевичем Анфиногеновым и его женой Надеждой Павловной. Посещения этой семьи помню хорошо. Дом Анфиногеновых был заполнен шкафами с книгами и газетными

П. П. Бажов с женой (справа) и матерью



вырезками и цветами. На всех подоконниках стояли редкостные растения, и всегда звучала музыка.

В те годы наша семья жила в доме на углу улиц Чапаева и Большакова. Он и сейчас стоит на том же месте, но потерялся среди больших домов, врос в землю, кажется маленьким и старым. А в дни моего детства вокруг стояли такие же деревянные одноэтажные дома, окруженные садами и огородами. Улица, на которой стоит дом, сейчас широкое асфальтированное шоссе, а тогда была топкой и грязной, пройти по ней осенью и весной можно было только в болотных сапогах. Она и называлась Болотной. Сначала отец с матерью Августой Степановной поселились в маленьком низком домике без фундамента на этой же Болотной улице, но там было очень холодно и сырьо, вода стояла прямо под полом.

На углу Болотной и нынешней улицы Чапаева — тогда она называлась Детский городок — был каменистый пустырь, а плотник Филипп Иванович предложил отцу за недорогую цену новый свежий сруб, еще пахнущий сосновой. Так началось строительство дома. Строился он на учительское жалованье, в кредит. Распланировал его сам отец в расчете на большую семью. В доме было четыре светлых, почти квадратных комнаты и кухня. К началу империалистической войны дом был построен, но отец влез в долги, а семья увеличилась — детей было уже трое. Умерла Августа Степановна, жить стало трудно. Родные моей матери, которые жили в то время в Камышлове, звали к себе: «Жизнь дешевле, река, рыбалка, детям приволье, и мы рядом, Вале помошь...» И семья уехала в Камышлов.

Вернулись наши в 1923 году. Я уже родилась в этом доме, и все в нем, каждая его половина, каждое бревнышко — родные, знакомые с детства.

Стены и потолки в доме тогда не были покрыты штукатуркой и не оклеивались обоями. А каждое светлое,

пахучее, полированное бревно мыли теплой водой с мылом с потолка до пола. В доме было много цветов, света — отец был против всяких занавесей.

Во дворе нашего дома стоял сарай. С ним связано много событий моей детской жизни. В самом раннем детстве с этого сарая в отверстие, в которое давали корм корове, я упала прямо ей на голову и, когда увидела рога и большие зубы, с хрустом пережевывающие сено, испугалась этого жующего рта навсегда, на всю жизнь. Мой страшный крик услышал, конечно, пapa, хотя и был дальше всех от меня. Только у него на руках я почувствовала себя защищенной от всех опасностей. И до тех пор, пока у нас была корова, сарай был для меня местом неприкосновенным и страшным. Но потом держать корову стало труднее, потому что сено подорожало, и маму уговорили расстаться с Краснухой. Мама плакала, когда ее уводили, а я торжествовала. Я считала Краснуху моим личным врагом, хоть и свалилась ей на голову нежданно-негаданно.

После этого сарай с многочисленными конюшнями, а главное, с сеновалом, где еще по старой памяти лежало душистое мягкое сено, стал излюбленным местом игр. Там были прекрасные места для пряток, туда можно было забираться с интересной книгой и забыть обо всем на свете, там можно было без помехи выплакать обиду. Помню, я скрывалась на сеновале целыми днями после того, как отец побил меня. Случилось это однажды, но запомнилось навсегда. Я никогда не могла простить обиды, а он впоследствии всегда в шутку пытался оправдать свой поступок. И хотя его правота стала мне ясна уже давно, мы все равно продолжали эту игру. Было мне пять лет. Вся семья была в сборе, обедали. Моя сестра Елена всегда любила меня поддразнивать, наверное, она это делала не назло, а именно потому, что я очень бурно реагировала. Не помню, что именно было причиной на этот раз, помню только, что

совершенно взбешенная, выскочила из-за стола, выбежала во двор, схватила тяжелую палку и со всего размаха выбила стекло, за которым видела только ненавистное мне в этот момент, смеющееся лицо Елены. И тут я замерла — непоправимость того, что я сделала, стала мне ясна. Я никуда не могла бежать, потому что знала, что сейчас должно наступить возмездие. И оно пришло в виде отца. Я и сейчас вижу, как он торопливо сбегает с крыльца, как развеиваются его борода и голубая домашняя рубашка, даже вижу тапочку, свалившуюся с ноги. Я только не помню его лица, но мне почему-то кажется, что оно не было злым. Потом наступило самое страшное — он меня ударил. Мой добрый, мой любимый отец ударил меня. Не знаю, было ли мне больно — это не запомнилось, запомнилось только чувство огромной взрослой обиды. Спустя много лет, когда мы с отцом обсуждали события этого дня (а мы к ним часто возвращались иногда всерьез, иногда в шутку), он сказал, что ударил меня два раза ремнем, который у него в этот момент оказался в руках. Мне же казалось, что он меня бил бесконечно долго.

Долгое время после этого между мной и отцом не было никаких отношений. Я его игнорировала, он не настаивал на сближении. Лежа в сарае на мягкком сене, я строила жестокие планы мести. Постепенно травма стала заживать. Все в семье относились ко мне бережно, хотя, видимо, по распоряжению отца никто меня не утешал, и о происшествии не говорилось. А потом как-то так все сложилось, что я, оказывается, пострадала по заслугам и что это даже хорошо, что так случилось. И как-то постепенно я в этом уверилась. В семье даже стали шутить по этому поводу. Стоило, например, мне что-нибудь удачно нарисовать, как кто-нибудь говорил: «Смотрите, как у Риды здорово получилось. Это потому, что она у нас битая...» И я уже не обижалась.

Читать я начала рано. Первые буквари еще задолго до школы мне принес отец. Были они некрасивы. Печать тогда была бедная. Это очень огорчало отца. Он все искал что-нибудь поинтереснее. Рылся в своих старых учебниках, стараясь выбрать книжку позанимателнее, но старые буквари были с ятью, старинным шрифтом и анахроничными текстами. Наконец, мы выбрали, по мнению отца, самый удачный учебник, и начались наши первые уроки. Проходили они интересно, неутомительно. Я ждала их с радостью. Мама убирала со стола посуду и насухо вытирала клеенку, отец раскрывал букварь, а я забиралась ему на колени. Это были счастливые часы моей жизни. Читать я научилась мгновенно и начала одну за другой глотать книги, выбором которых в то время строго руководил отец. Это были сказки Пушкина, Перро, братьев Grimm, русские народные сказки, басни Крылова. Теперь я забиралась на сеновал с книжками, они стали моим главным увлечением, моей страстью.

Мой любимый сеновал я увидела отцовскими глазами, когда он прочитал мне начало сказа «Хозяйкино зарукавье». В этом сказе девочка-сирота Настенька находит на сеновale единственное для себя прибежище. Она любит его пахнущие смолой и прогретые солнцем доски, легкий запах душистого сена, солнечные лучики, заглядывающие в круглые от выпавших сучков глазки. Когда отец прочитал мне это начало, я спросила:

— Это ты про наш сеновал?

Он загадочно улыбнулся:

— Может, и про наш, а может, и нет...

А я тогда подумала: и у него был свой сеновал, а потом и узнала из его автобиографических книг, что он тоже бегал на сеновал скрывать свои обиды.

Потом я ждала продолжения сказа. Мне хотелось узнать, что произошло с девочкой Настей, которая в лучике

солнечного света, пробившегося на сеновал, увидела зеленую красивую ящерицу с царственной головкой. Сказ так и не был закончен, но для меня он навсегда остался как что-то, очень тронувшее меня лично, как чья-то жизнь, которая была рядом со мной, и мне предстояло стать ее участницей, но этого не произошло, и она прошла мимо.



Зимой в доме топились печки, уютно потрескивали дрова. Я часто сидела с отцом, глядя на раскаленные угли и пляшущие над ними огоньки. Он задумчиво помешивал уголья и смотрел на пламя. Потом вздыхал с сожалением:

— Пора, Ридчёна, закрывать, мы с тобой и так замечтались, жар упустили, холодно будет,— и все-таки еще медлил.

А летом открывались окна в сад, и в комнаты лился аромат цветущей черемухи или сирени, а позже яблонь и липы. Сад весь был посажен нашими руками, и почва — каменистая и болотистая на разных участках — взрыхлена и обработана нашими руками. Деревья, которые теперь разрослись и стали великанами, все принесены из леса маленькими прутиками: и береза, и липа, и рябинки, стоял еще в углу сада могучий тополь. В саду и огороде было раздолье: здесь отлично можно было играть в прятки, казаки-разбойники и есть прямо с грядки спевающую морковку и зеленые стручки гороха. Но всем с самого раннего возраста здесь приходилось много трудиться. Когда наступало время посадки или прополки, никто не знал пощады. Ни уроки, ни собрания, ни чертежи не служили оправданием. «Ну что же, хорошо, сделаешь позже», — говорил отец, — маме надо помогать». И сам, как только приходил с работы, надевал огородные сапоги и отправлялся в огород с лопатой или мотыгой в руках.

Поздний уральский вечер. Год, наверное, 1932, может быть, 1933. Вся семья в сборе. На столе в столовой стоит кипящий самовар. Отец в кухне снимает тяжелые огородные сапоги, моется. Только что закончили сажать картошку. К огороду относились в те годы серьезно. Семья огромная, а заработка невелик, работник всего один, поэтому «натуральное хозяйство» — серьезное подспорье, тем более что навык к нему был с детства. Своей картошки, моркови, лука, капусты хватало до весны. Поэтому весь наличный состав семьи работал в это горячее время на огороде. Отец в то время был политредактором Уралгиза и заведующим сектором сельскохозяйственной литературы. Возвращался поздно, усталый, но тут же переодевался и шел в огород копать землю, подрезать деревья. Мама еще заранее высаживала огуречную и капустную рассаду, и она росла на подоконниках. Но заниматься огородом лишь как подсобным участком, который приносит пользу, отцу было скучно. Он всегда в занятие садом и огородом вносил элементы творческого увлечения, покупал и выписывал сельскохозяйственную литературу и семена растений, которые ему почему-либо понравились, и он хотел их видеть у себя. Так однажды наш сад и огород и даже двор превратились в сплошной цветник. Роскошные красные, розовые, бледно-лиловые маки-ширли, как большой цветущий ковер покрыли все изъяны нашего сада и огорода. Потом они постепенно перевелись. Как-то самый лучший участок нашего огорода мама, правда, не без сопротивления, отдала папе под невиданные еще плоды турнепса. Все мы беспрестанно ходили смотреть, как вылезают из земли бледно-сиреневые, лиловатые его плоды. Отец очень гордился, что турнепс уродился, правда, потом никто его не хотел есть, хотя отец убеждал всех, что это чрезвычайно полезно, сам он тоже не ел. Он вообще был неприхотлив и консервативен в еде. Любил щи и карто-

фельный суп, гречневую кашу, яички и чай. Ко всем деликатесам всегда относился спокойно. Считал, что лучшей закуски под водку, чем соленая капуста, огурец и маринованные грибы, не существует.

Выведением лучших сортов картофеля и мака отец занимался терпеливо из года в год. Каждый куст картошки надо было выбрать из земли и положить отдельно. Потом со всего участка выбирались те, которые дали наибольшее количество плодов и самые крупные. Это была работа творческая. Отец лопатой или вилами поддевал куст, я вытягивала его за ботву и уже наперед старалась угадать — удача или неудача. Потом мы долго ходили между кучек по многу раз, пересчитывая количество картофеля и решая, где они крупнее. Самые лучшие клубни складывали отдельно и оставляли «на семена». К началу войны у нас был уже выведен прекрасный сорт: почти весь картофель был ровный, бело-розовый, величиной в два кулака.

В первый же год Отечественной войны все эти многолетние усилия пропали. Мы съели наш «семенной фонд» еще в начале зимы, но радость, которую я получала, казалось бы, от такого неинтересного занятия, как уборка картошки, осталась у меня как память о том, что каждое дело может быть интересным, если к нему подходить творчески. Когда позже во время войны мне приходилось вместе с моими товарищами-школьниками убирать картошку с многогектарных колхозных полей, я всегда старалась придумать для себя и для девочек моей бригады какое-нибудь развлечение. Когда все уставали до того, что еле двигались, мы загадывали: если успеем убрать картошку до того, как плуг подойдет вот к той канавке, значит, нам на этой неделе привезут фильм. И все начинали работать веселее, потому что никто не хотел быть виновным в том, что фильма не будет.

Не знаю, устраивал ли отец для себя такие развлечения сознательно или для того, чтобы для нас эти занятия были интереснее; думаю, и для того, и для другого. Во всяком случае увлечения его всегда менялись. То он выписывал семена каких-то гигантских огурцов, то занимался малиной, то крыжовником, то яблонями, то маком и всегда всем с удовольствием.

Сегодня картошку уже посадили, значит, горячее посевное время в нашем огороде в основном закончено, теперь начнется поливка, прополка... Но сейчас все довольны, оживлены, голодны. Уже одиннадцать часов вечера, а на улице еще светло. Стоит то короткое время, когда на Урале в двенадцать темнеет, а в три светает.

Отец, усталый, умытый, в голубой сатиновой в белую полоску рубашке, выходит в столовую. Здесь уже толкотня. За большим нашим обеденным столом усаживается семья: старшая сестра Ольга со своим мужем — оба студенты Свердловского горного института, средняя сестра Елена с мужем — студенты Уральского политехнического, тогда индустриального института, брат Алеша — школьник, мама, отец и я — всего восемь человек. Мама вносит блюдо с пирожками.

— Ого! — говорит Алешка.

— А с чем?

— С мясом, — улыбается мама.

— А по сколько штук?

— Сегодня кто сколько хочет...

Веселое оживление — и пирожки начинают таять. Мама разливает чай, и лицо у нее веселое, а глаза грустные. Я знаю, что утром она плакала и жаловалась папе, что ей нечем кормить ребят и что ей очень не хочется менять обручальные кольца на муку, но другого выхода она не видит...

— Ну подумашь, кольца! Дело какое... — утешал ее отец.

— Как ты этого не понимаешь! Разве в кольцах дело!
Память ведь...

И вот сейчас все сидят и жуют пирожки, а я не хочу,
мне жалко маму, хотя у нее и веселое лицо.

— А ты, Ридчёна, что приуныла? Еш-ко давай,—
отец ласково и внимательно заглядывает мне в глаза, и я
понимаю — он знает, о чем я думаю. Он всегда все по-
нимает.

Потом я долго не могу уснуть. Кровать моя в комнате
родителей, я уже давно выселена из нашей общей, когда-то
«детской комнаты». Там поселились, разделив ее пополам,
две молодые пары. Мне хорошо видно папино лицо. Оно
сегодня очень усталое, а борода совсем белая. Он сидит за
маленькой своей старой конторкой, горит настольная
лампа, и он что-то пишет.

Теперь я знаю, над чем он работал по ночам после
утомительного рабочего дня, после напорного физического
труда дома — после всего этого он «для себя», «для от-
дыха», «впрок», «для удовольствия» составлял картотеку,
куда заносил все, что привелось ему услышать, вспомнить,
прочесть в течение дня.

Сейчас я могу наугад взять из картотеки любую кар-
точку и привести ее целиком:

— Начетисто. Разговаривать на голоса. Скорохват
скорохватом.

Сила и задор. Задору много, да силенка мала. Силы
накопил — задору не стало.

Старостью не укоряют. Молодостью не хвалятся.
Ногами обижен, не головой, такое терпеть можно.

Жизнь одна, да жить-то приходится по-разному.

Зимнее тепло — что мачехино добро. Греть не греет,
а вид дает.

Проси, что хочешь, а бери, что дают.
Счастье руками берут.

Людей с мысли сбивать умеет, а нет, чтобы на думку
натолкнуть.

Косой пласт. Развил жилы. Гнездо. Венец. Гребешок.
Взлобок. Тянигуж. Пригорье.

Крута гора, да забывчива. Горка крута, да миновать
нельзя.

Семилапка (прозвище). Коровий стульчик (прозвище).
Встречная полоса лиц и уходящая полоса затылоков.

Живой воды капелька. Большой воды капля. Бывает
живой воды капелька дороже гнилого озера. Кому что
любо: чан стоялой воды либо капелька живой.

Большой горы камешек. Большой горы начало.
Сеня-головастик. Головастый, рукастый, ногастый.

Опрокинулась чаша популярности.
Разные положения фуражки: задор, уныние, испуг,
равнодушие.

Горная роса. Росинка горы. Росинка на изломе.
Это не была тщательно документированная работа
фольклориста. На карточке нет точной паспортизации: где,
когда, откуда... Это личная писательская кладовая, которая
неоднократно перебиралась и пересматривалась во время
работы над сказами. Очевидно, в ней собирались и сюже-
ты, и образы, и меткие словечки, но служить это все могло
только самому автору. Слово яркое, меткое, образное всегда
было для отца предметом восхищения, увлеченного поиска.
Он искал корни слов в истории края, в быту. Обращение
писателя со словом, пожалуй, было для отца главным в
оценке художественного произведения.

О необходимости ежечасно работать над словом, искать
его историческую основу, закономерности его развития, об
уважении к слову он любил говорить, увлекаясь, приводил
интереснейшие примеры о том, как он понимает работу
над словом.

— Сижу в Зайково на партийной конференции,— рас-

сказывал он,— в 1927 или 1928 году. Говорят, говорят — уже повторяться стали. Надоело, душино, лето... Вышел покурить. Держит речь секретарь райисполкома. На воздухе хорошо. Рядом помещение столовой. Несколько женщин готовят ужин для участников конференции. Они нет-нет да и прислушиваются. Заведующая столовой вдруг говорит: «Заишшокал секретарь, сейчас кончат». И действительно, под конец речи секретарь с подъемом повторял: «Еще решительнее повести борьбу, еще сильнее ударить...» С тех пор много воды утекло, а вот слово осталось в памяти.

Отец всю жизнь выписывал слова, но не те, что особенно редки, а те, которые ему, как он говорил, «могут пригодиться». Иногда это был случайный, подслушанный на улице разговор. Иногда слово из книги.

Л. И. Скорино в своих воспоминаниях об отце приводит выдержку из его письма:

«Былся я как-то, не мог найти нужное слово. Перечитывал в то время «Бурю» Шекспира. Произведение не русское. И переводчик тоже не ахти как перевел. Но встретилось мне там слово «миляга». А ведь можно сказать «простяга». Вот ответ и найден. Слово нашлось. Вот так сам не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

Вернувшись из поездки в Пермь, он жаловался:

— Привез два великолепных слова, а использовать нельзя — грубоваты!

Грубые слова не любил. Никогда их не употреблял в речи, но в анекдоте «к месту» — мог, никого при этом не стесняясь и не делая длинных оговорок «простите», «извините». Слово же оказалось незаменимым. Без него пропадала острота и смысл рассказа.

Собирательством слова ради его коллекционирования, ради того, чтобы удивить читателя, никогда не занимался.

«Если слово устарело, надобности нет хранить его,

особенно, если за ним не стоит образ. А всяким там притчам языка можно умилиться, можно играть словом, но это пустяк в конце концов».

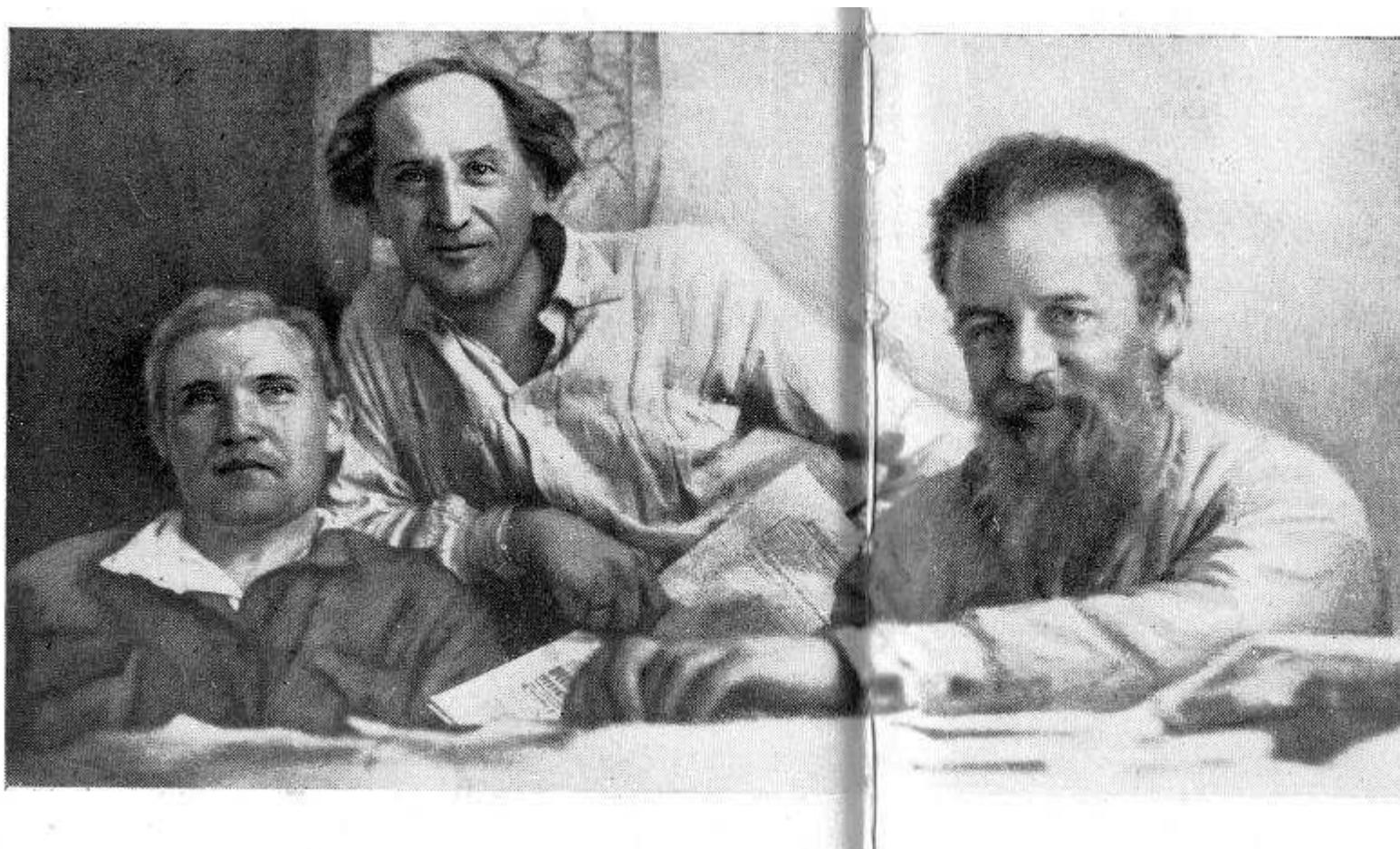
Употреблял в своих произведениях и нелитературные слова, но законные, по его мнению. Одного не терпел — обыгрывания неграмотности русской речи.

«Недостойно делать предметом балагурства язык моего отца и моей матери. Горбунов мог умилиться «чичас» и прочее того же рода. Он смотрел и слушал со стороны. Но нас эти Вальки и Таньки тешить не могут. Не выношу Горбунова даже в самых невинных его вещах». (Из письма к Л. И. Скорино.)



1934—1936 годы — начало работы над сказами. Кропотливая работа «по мелочишкам», как говорил отец, велась давно. Собирались слова, образы, сюжеты, но все это еще не начало оформляться в сказы. В январе 1936 года написан первый сказ «Про водолазов» на основе сюжета, услышанного еще в годы гражданской войны. Одновременно по заданию Исппарта Бажов работает над книгой «Формирование на ходу» — об истории 254-го Камышловского полка 29-й дивизии, в котором он воевал.

Хорошо помню летний жаркий день 16 июля 1936 года. В нашем саду как будто специально к этому дню зацвела липа. Это была серебряная свадьба наших родителей. Они поженились 25 лет назад. Елена прилетела из Москвы по пути в командировку в Златоуст. Мама, худенькая, в открытом ситцевом платье, с цветком в еще черных волосах, играла на гитаре и пела. Когда обо всем переговорили, съели пироги и выпили чай, папа с таинственной и смущенной улыбкой вынес из дома простую ученическую тетрадь с пушкинским лукоморьем на обложке, исписан-



П. П. Бажов среди со-
трудников «Крестьянской
газеты»

ную ровным, аккуратным почерком бывшего учителя русского языка и чистописания, и прочел нам глуховато и без надобности покашливая в бороду сказ «Медной горы Хозяйка». Не помню, как кто реагировал, что говорили. Помню только чувство восхищения и удивления, с которым я в этот день смотрела на отца.



Однажды, вернувшись из школы, я застала отца дома в неурочный час. Рассказывая школьные новости, я заметила — он мрачен и не может это скрыть за обычным вниманием и приветливостью.

— Я хочу поговорить с тобой как со взрослым человеком.

Я кивнула головой. Все было так необычно, так не похоже на него...

— Завтра ты пойдешь в школу и скажешь, что твой отец исключен из партии. Очевидно, тебе не позволят оставаться председателем отряда, ни даже старостой класса... тебе это не доверят... поняла?

На следующий день, вернувшись из школы, я нашла отца на дальнем, заброшенном участке нашего двора, где среди каменных глыб пробивалась дикая ромашка и кусты бузины.

В рабочих сапогах и рукавицах, в нижней рубашке отец ломом выворачивал камни и относил их в глубину двора. Я молча смотрела. Отнеся очередной камень, отец сел, вытер пот со лба и спросил:

— Сказала?

— Сказала...

— Ну и умница, пойдем обедать.

С тех пор, возвращаясь из школы, я каждый день

заставала отца за тем же занятием. Он разбивал камни, ломом выворачивал их из земли и переносил. Груда камней увеличивалась, а участок плодородной земли для посева расширялся.

Сейчас я понимаю, что отцу тогда было очень тяжело. В течение года он нигде не работал, никуда не ходил, почти никто у нас не бывал. Нередко я заставала маму с заплаканными глазами. Жили мы в то время трудно. Если бы не мамина сестра, учительница Наталья Александровна Иванецкая, которая жила с нами и делилась своей скромной зарплатой, пришлось бы совсем туго. Сбережений в семье никогда не было, да и откуда, если все предыдущие годы работал один отец, а на его плечах восемь иждивенцев.

К этому времени старшие сестры и их мужья закончили горный и индустриальный институты и разлетелись в разные концы. Иногда от них приходили письма, иногда маленькие переводы, иногда посылки, иногда подолгу не было ни слуху ни духу. Но на них никто не обижался, да и помощи особой от них не ждали. И мама и отец понимали: птенцы вылетели из гнезда и у них своя жизнь, свои заботы.

Еще с тех трудных времен хорошо знаю, что в Свердловском драмтеатре последний ряд тридцать третий, а билеты, по крайней мере тогда, в этом театре самые дешевые. Иногда мы с мамой выкраивали из семейного бюджета на поход в драмтеатр.

— Только уж пешком! — предупреждала мама. — Трамвай не предусматривался!

Театр у нас в семье всегда любили. Хорошо помню свой первый поход в оперный театр. Было мне лет пять или шесть. В те годы в Свердловском оперном театре шла «Перикола». Отцу, видимо, очень хотелось, чтобы спектакль мне понравился и запомнился. Несколько раз он заглядывал мне в лицо и спрашивал:

— Понимаешь? Нравится?

А мне запомнились только большой бутафорный ключ, золотые волосы герини и торжественная тишина зала.

Когда я стала постраше, мы часто ходили в театр вместе с отцом и мамой. Однажды возвращались после спектакля «Стакан воды» Скрибера. Домой шли пешком и всю дорогу говорили о спектакле. Отец с удовольствием вспоминал смешные диалоги и положения.

— Значит, если большая держава хочет проглотить маленькую, то дело последней худо. А если две большие державы хотят проглотить маленькую, то дело ее совсем неплохо и даже завидно — она сама может превратиться в большую... Неплохо сказано!

В годы войны театр Красной Армии ставил пьесу Гладкова «Давным-давно». Она пользовалась неизменным успехом. Смотрел этот спектакль и отец. Очень смеялся.

— Вот смотри-ко ты, большие идеи в пьесе заложены — любовь к Родине, патриотизм, а нравоучительности нет. Люди в ней действуют простые и обыденные. Кутузов даже не полководец, сошедший с пьедестала, а простой миный старик. И веришь всему.

Но, пожалуй, больше всего отец любил оперу, хотя музыкального слуха не имел. Бросал любую работу ради того, чтобы прослушать по радио шаляпинские записи или Обухову. Сам он пел редко, только в очень хорошем настроении и, как правило, в одиночестве. Единственная мелодия, которой он неизменно вторил, где бы она ни звучала — дома ли из репродуктора или в большом зале во время торжественного заседания — это «Интернационал». У меня всегда было такое ощущение, что эта мелодия сидит в нем и не петь он не может — это потребность, долг, радость. Очень часто, зачитавшись ночью допоздна, я слышала, как отец поет за стенкой завершающие звуки «Интер-

национала», который в то время звучал в конце последних известий.

Он очень любил наших русских композиторов Чайковского, Глинку, Глазунова, Мусоргского, но знал и западную классику.

В конце 20-х, начале 30-х годов на сцене Свердловского оперного театра пели такие замечательные певцы, как Спришевская, Ухов, Лемешев, Горелов, Мухтарова. Уже позже, когда средства записи стали совершеннее и появилась возможность навсегда сохранить голос певца со всеми его особенностями и прелестью, отец страшно сокрушался, что уже поздно и нельзя записать замечательное исполнение молодым Василием Герасимовичем Уховым партии Онегина. По мнению отца, голос его был так силен, а тембр так хороший, что он намного превосходил всех известных певцов. Спришевская блеснула на свердловской сцене, и навсегда ее голос остался в памяти театралов. Позже, слушая какую-нибудь арию в исполнении наших прославленных певиц, отец вздыхал и говорил:

— Хорошо, а все-таки куда до Спришевской!

Я порой возмущалась:

— Уверена, ты так говоришь потому, что людям всегда кажется то, что было раньше, лучше, чем сейчас.

— Может быть, может быть. Я ведь не спорю. А все-таки, куда ей до Спришевской...

То, что он не может воспроизводить мелодии, огорчало отца. Он не раз и устно и письменно сетовал на это. Особенно, когда к нему обращались за советами и с просьбой оценить их труды композиторы, написавшие музыку на сказы — Фридлендер, Молчанов, Прокофьев, Муравлев. В одном из писем Д. Нагишкину он писал, что очень завидует авторам, способным передать свои произведения и другими средствами (Нагишкин сам иллюстрировал свои «Амурские сказки»). И сетовал, что, хотя не может ничего изо-

бразить сам, точно знает, чего бы он хотел, но не может передать этого художникам, потому что каждый воспринимает сказочные образы по-своему.

В общем, на нашем музыкальном воспитании он никак не настаивал. Единственному в семье, Алеше, передался мамин музыкальный слух, и он мог играть на любом инструменте, оказывавшемся под рукой. Ну, о рояле во время скитаний по Сибири, Алтаю и Уралу да и много позже мечтать не приходилось. Единственное, чем мог помочь отец, он покупал для Алеши гитару, мандолину, гармонь. Когда подросла я, уже была возможность учить меня музыке, но у меня, увы, не было ни способностей, ни желания. Мама сражалась со мной в одиночку при тихом попустительстве отца, и через год я вышла победителем.

— Ну, что уж поделаешь, Валяняшка,— утешал он маму,— не огорчайся... внуки наши будут играть... а если не внуки — так уже правнуки непременно.

Но в тот тяжелый год отец в театры не ходил. Он вообще нигде не бывал. В любую погоду он копал огород, отдыхал на камнях, покуривая трубочку, глядя куда-то невидящими глазами, а ночами сидел за своей старенькой конторкой и записывал все, что придумалось за день. Иногда страницы шелестели всю ночь, и, зачитавшись какой-нибудь интересной книгой, я слышала до рассвета его тихие шаги, покашливание, иногда он неожиданно приходил ко мне, и тут мне, как правило, попадало, но не всегда... Иногда он просто садился ко мне на край кровати, спрашивал:

«Что читаешь-то? Ну... ну... это стоящая вещь...» — и молча уходил, как будто и не заметил, что все мои сроки давно истекли, что на дворе светает, уходил, погруженный в свои мысли, и опять за стенкой мерял шагами комнату. А с утра все начиналось по-старому: сапоги, рабочие перчатки, лом или лопата...

К тому времени, когда отца вызвали в райком партии, вернули партийный билет и предложили приступить к работе, у него уже были готовы сказы «Надпись на камне», «Сочневы камешки», «Каменный цветок», «Марков камень», «Золотой волос», «Змеиный след», «Две ящерки», «Тяжелая витушка», «Горный мастер», «Кошачьи уши», то есть, по существу, основные сказы, составившие впоследствии костяк «Малахитовой шкатулки».

Не сразу они нашли своего читателя и завоевали признание.

— Это, Павел Петрович, при всем уважении к вам я печатать не стану,— сказала ему редактор сборника, в который отец впервые принес свои сказы.— Это фальсификация фольклора!

После первой публикации сказов в журнале «Красная новь» кто-то из известных литератороведов вкупе с фольклористами подготовил разгромную статью, о которой случайно узнал Демьян Бедный и, по его собственным словам, «спас Бажова от разгрома».

Редактор одного из центральных детских журналов вернул рукопись сказа «Серебряное копытце» с очень суровым отказом. От выразил удивление, что нашелся автор, который «с этим стремится войти в детскую литературу».

Отец, конечно, огорчался. Терял веру в себя. Сетовал на фольклористику, которая «все застолбила и классифицировала»: «Это гrimмовский сюжет, это афанасьевский, это гильфердинговский, а что не в этих рамках — то от лукавого».

К сожалению, я была в том возрасте, когда дети начинают считать себя взрослыми, очень заняты собой и мало родителями. Теперь могу только жалеть, что у меня этот период пал на трудные и весомые годы в жизни отца.

Сказы начали печататься в газетах, журналах, в сборниках. Появились первые положительные рецензии.

28 января 1939 года в Доме литераторов на Пушкинской, 12 отмечали шестидесятилетие Павла Петровича Бажова. Помню, что приготовлений и волнений в доме было много. Маме срочно переделывали платье моей тетки, потому что ничего «подходящего к случаю» у нее не было, отцу штопали брюки, а я до блеска начистила его сапоги, надеясь, что их ветхость будет незаметна.

Замечательным подарком к юбилею был свеженький, пахнущий типографской краской сборник первого издания сказов «Малахитовая шкатулка». Потом их было много, красивых и некрасивых, богатых и скромных, цветных и черно-белых, на русском, украинском, английском, французском, персидском и других языках мира. Но эта первая книга навсегда осталась для отца самой лучшей, самой дорогой, и даже ее скромненькое оформление он считал самым интересным.

Потом стали появляться работы, для которых «Малахитовая шкатулка» послужила толчком, базой — первые театральные постановки, балеты, сначала А. Фридлендера, позже С. Прокофьева, опера, работы художников и скульпторов, фильм «Каменный цветок».

Отец с большой благодарностью и уважением относился к работе тех, кто иллюстрировал, экранизировал, создавал музыку и скульптуру на основе его сказов.

По поводу первой радиокомпозиции «Хозяйка Медной горы» он писал: «Композиция произведений всегда у нас кем-нибудь оспаривается. И это понятно, так как это сугубо индивидуальное дело. В нашем Свердловском драмтеатре имеется не то девять, не то одиннадцать инсценировок романа Мамина-Сибиряка, и все они, танцуя от одной печки, расходятся в концах до неузнаваемости. В результате инсценировка романа стала явно безнадежной. Чтобы

не впасть в подобную ошибку, не стану останавливаться на частностих, скажу лишь, что инсценировка сказов дает цельное впечатление. Самая большая трудность здесь — слияние образов Степана и Данилы. Они, правда, очень близки, но разное их положение в производстве вносит существенную разницу: то, что составляет главный интерес горнорабочего, не всегда понятно камнерезу, и наоборот. Вам,— отец обращается к сценаристу и режиссеру,— это удалось не хуже «доброго малахитчика» — линия склейки не видна даже тому, кто знает, что это мозаика.

Об исполнителях что сказать? Считаю большой для себя честью, что в передаче участвовали такие мастера сцены, как М. И. Бабанова и А. Н. Грибов. Их я просто слушал как один из бесчисленных почитателей их редкого мастерства и таланта.

Музыка мне понравилась, но судить о ней не берусь по причине моей музыкальной подготовки. Уверен лишь, что музыкальная иллюстрация сказов нелегка, так как в них исключительно зрительный образ. Может быть, потому, что автор принадлежит к разряду туюющих, хотя могло сказаться и то, что в районе рудников не было тех звучаний, какие порождают легенды о стонущей, поющей «матке». Единственным музыкальным шумом здесь была рудничная капель и звучание подземных ручейков. Постановка Р. Иоффе, как всегда, с большой творческой выдумкой».

А вот что он писал об иллюстрациях В. Баюскина к сказам: «Иллюстрации В. Баюскина прекрасно переданы. Особенно удачна Танюшка перед шкатулкой. Милое детское лицо, хорошо продуманы детали костюма и украшения, которые в своих контрастах подчеркивают основное — красоту и миловидность девочки.

С этим художником мне приходится встречаться не первый раз. Он иллюстрировал первое ГИХЛовское издание «Малахитовой шкатулки», повестушку «Зеленая кобыл-

ка». Движение и бытовые детали у него безукоризненны, но попыток проникнуть в суть сказовой фантастики нет. Полоз ведь — это, в сущности, отражение заката в горах, имеющих меридиальное направление, а художники — и он, и все другие, кто иллюстрировал сказы,— не могут отрешиться от библейского медного змея. Вышло неплохо, но, как говорится, не из той оперы. Виноват, может быть, автор, не развернувший в должной мере это в самом тексте сказа. Подтекстовое ведь понимать не всегда можно так, как хочется автору. Данилу хотелось бы чуть постарше, а пейзаж, очень близкий к уральскому, «немножко подмохнатить». На Среднем Урале ведь горы обычно покрыты лесом. Но все это, конечно, разговор для «внутреннего употребления», а вообще-то очень хорошо, и мне остается благодарить Вас и редакцию «Огонька» за такое исключительное окружение моего сказа».

Отец умел давать советы, не навязывая их. Он никогда не говорил: «Необходимо сделать так!» Наоборот, он говорил, что можно сделать как угодно, только нельзя сделать вот так, и логично доказывал, почему нельзя. И получалось или смешно, или глупо, и каждый вынужден был с этими доводами согласиться. Интересно его письмо в «Профиздат» редактору Н. И. Каданер по поводу работы художника над оформлением книги «Малахитовая шкатулка»:

«... У меня на основании личного опыта создалась привычка не путаться в это дело, никогда не пытаться вносить поправку в работу другого. Пусть каждый за себя отвечает. В работах с элементами фантастики это особенно важно. Могут быть разве замечания относительно анахронизмов в одежде и обстановке, но ведь это не главное. Я уже, помнится, писал Вам, что надо лишь предупредить художника по части лаптей. На Среднем Урале, где начиналась горная промышленность, липа не растет, поэтому лапти было

достать труднее, чем кожаную обувь. Шляпа-гречевник, столь привычная для средних просторов нашей страны, здесь не подходила. Нужна была другая форма, которая бы не снималась при работе в тесных забоях, и в какой-то мере предохраняла голову от удара... В результате была в ходу войлочная «катанка» — шляпа круглой формы с небольшим козырьком, который при наклоне головы защищал глаза, и небольшими, довольно пологими полями, на которых не задерживалась бы каменная или угольная мелочь. Вот и все.

Что же касается расцветки костюмов, то хотелось бы одного — не в стиле «русс» и без излишнего широкоплечия. Не Ваньки, Таньки и не титаны, а настоящие люди, такие, каких мы видим повседневно, лишь в другой одежде. О сказочных персонажах говорить не приходится. Всякие советы здесь явно будут мешать».



1939—1949 годы заполнены поездками, встречами с людьми, работой над сказами, общественной деятельностью... А отец оставался прежним. Когда он стал известным писателем, секретарем Свердловского отделения Союза советских писателей, был награжден Государственной премией, орденом Ленина, избран депутатом Верховного Совета СССР, ни в его привычках, ни в укладе нашего дома ничего не изменилось. Это был все тот же дом учителя начала XX века, в котором жили люди скромного достатка и скромных потребностей.

Письменный стол отцу по-прежнему заменяла конторка, сделанная еще для деда Петра Васильевича сысерским мастером. Была она неказиста, но вместительна, не занимала много места, покрыта черной kleenкой, под которую подсовывались письма, требующие самого срочного ответа.

Письменный прибор заменял пузырек с чернилами, плотно закрывающийся пробкой, чтобы не выдохлись. Все сказы, вошедшие в первое издание «Малахитовой шкатулки», написаны за этой конторкой тонкой легкой ручкой из тростника, которую отец смастерили сам, привязав к ней перо ниточкой. Только значительно позже, в 1943 году, когда зрение стало ухудшаться, он купил в Москве пишущую машинку и стал печатать на ней сначала медленно, двумя пальцами, а потом все быстрее и быстрее.

Наш старенький деревянный дом был всегда полон людьми. Отец днем работать не мог. Многочисленные обязанности, большая семья, отсутствие изолированного кабинета, бесконечный поток людей в доме — журналисты, писатели, приезжие из Сысерти, Полевского, Северского заводов, бывшие соученики и ученики, его друзья, друзья детей, родственники, в общем — «дом на углу».

Времени для того, чтобы спокойно посидеть за рабочим столом, в тишине покурить и подумать, оставалось все меньше и меньше...

Работал он ночами. Иногда настольная лампа горела до рассвета и, не смолкая, стучала машинка, иногда раздавались только тихие его шаги. Засыпал отец по давней своей привычке очень поздно, но у его избирателей рабочий день складывался иначе, и в семь часов утра на крыльце поднимался бородач огромного роста, охотник из Красноуфимского района. За утренним самоваром они уже сидели вдвоем и вели неспешный разговор о том, «каков нонче лов на белок», «какая хитрая животинья соболь», попыхивали трубочками, и, между прочим, выяснялось, что Петра Прокопьевича несправедливо обложили налогом, вот он и «задумал свернуть к депутату и объяснить, что к чему».

Только я успевала закрывать дверь за охотником, как раздавался новый звонок. Входил молодой лейтенант, который прямо с порога начинал говорить:

— Павел Петрович! Нас выселяют! Вы должны вмешаться. Это несправедливо. Я воевал всю войну. Жена заканчивает дипломную работу. Мы ждем ребенка.

— Успокойтесь, пожалуйста. Радчёна, неси стул, сядитесь и рассказывайте все по порядку. Где воевали?

Лейтенант уходил успокоенный, а у отца появлялись озабоченные морщинки на лбу и возле глаз.

Звонил телефон. Москва, редакция журнала «Пионер».

— Павел Петрович, мы ждем сказ. Обещанные вами сроки истекают.

— Да, да, верно. Помню... Извините... Не сдержал слово, а собирался, — оправдывается отец. Я понимаю, как ему, человеку аккуратному и обязательному, тяжел и неприятен этот разговор.

Потом он спешно собирался — на 12 часов было назначено заседание совета краеведения, — брал в руки палку и шел пешком тринадцать кварталов до центра; он почти никогда не пользовался городским транспортом, сохранив до конца жизни привычку заводского человека много ходить. Возвращался он еще более озабоченным и делился с нами во время обеда:

— Что все-таки делать с краеведением? Наши краеведы ничего не издают уже с 1928 года, а возможности широкие. Можно и справочную литературу по Уралу издавать, и перепечатывать старую краеведческую литературу, которая давно стала библиографической редкостью, можно, наконец, издавать журнал или записки о современном состоянии Урала. Но кто печатать будет, где полиграфическая база? Сегодня встречаемся с Л. П. Неверовым. У него по этому поводу есть свой план.

После обеда отец заснул, но пришло его разбудить раньше намеченного срока — пришел научный работник по какому-то важному делу. Отказывать или говорить «зайдите попозже» никто в доме права не имел. По этому по-

воду все домашние получили строгую и безапелляционную инструкцию: «всегда дома», «всегда можно видеть». Разговор с ученым действительно оказался и важным и сложным, и отцу пришлось еще долго после него выяснять, кто же виноват в том, что не состоялся научный эксперимент,— «зажимщик и консерватор директор» или «безграмотный маньяк научный работник».

Вернувшись после встречи с Неверовым, отец вел длинный телефонный разговор с администратором ансамбля песни и пляски ВЦСПС о постановке на сцене «Уральского сказа». А совсем поздно вечером он обсуждал с приехавшим из Москвы известным исследователем творчества Мамина-Сибиряка Е. А. Боголюбовым дела музея и возмущался чьим-то распоряжением передать архивные материалы из маминского музея, который был создан по прямому завещанию писателя, в московские архивы.

Таков был один из его обычных рабочих дней, за которым непременно следовала «рабочая ночь», и опять почти до рассвета стучала машинка, и ноги в мягких валенках мерили комнату из угла в угол. С утра все начиналось сначала, только на крыльце вместо красноуфимского охотника робко поднимался начинающий писатель или начинающий поэт с тетрадкой стихов. Оценивать стихи отец отказывался. Говорил: это высшая форма литературы. Не разбираюсь. Не знаю. Никогда сам не писал... Но разговаривал он всегда приветливо, сначала расспрашивал:

— Где учитесь? Когда начали писать? Не считаете ли писание стихов забавой?

В ответ на настойчивые просьбы сдавался:

— Хорошо. Оставьте, посмотрю. Только ответить скоро не обещаю, да и на оценку уж чур не обижаться.

В один из дней, отведенных для литературных ответов, отец диктовал мне письмо. Ответы действительно нередко бывали суровыми.

«Уважаемый В. А.,— писал он в село Сороко Згурицкого района Мордовской АССР,— обычно я отказываюсь оценивать стихи, т. к. никогда сам их не писал и плохо разбираюсь в этом деле, но ваши еще на такой ступени, что о них можно сказать, не боясь впасть в ошибку.

Простите, скажу без обиняков и ненужной дипломатии. Надо либо совсем бросить это дело, либо начать всерьез учиться. Причем учиться по-настоящему в самом строгом смысле, т. е. приобретать образование и лучше добиваться образования высшего. Поэзия ведь высшая форма литературы, и нельзя овладеть ею, пока сам не встанешь на высоты общей и литературной культуры. Не обольщайтесь примерами прошлого, что, например, Кольцов и другие поэты не имели высшего образования. Это верно лишь отчасти, так как все люди этой группы на самом деле проходили очень трудный путь учебы без школы. Да и то, что было в прошлом, не всегда можно брать примером для настоящего. Наша страна, как известно, стоит теперь на первом месте по образованию. В такой стране стать поэтом может только тот, кто сам поднялся выше своих читателей.

Правда, из поэтов современности есть такие, кто начал свой литературный путь с малым образованием, но ведь это было 20—25 лет назад, теперь же приходят в литературу молодые, которые уже на школьной скамье не только ознакомились с литературным наследством прошлого своей страны, но и ее стиховой культурой на других языках. Рядом с ними с такими стихами, как ваши, нельзя...»

Он умел радоваться чужим удачам. Я не помню, чтобы на протяжении 25 лет, что я знала отца, он о ком-нибудь говорил зло. Он мог пошутить, даже высмеять, он мог оценить очень резко, мог сделать выговор, но все это всегда доброжелательно— без злобы, без зубоскальства, без снисходительности, которая так обижает молодых. Я не помню, чтобы о ком-нибудь он говорил недоброжелательно. С огор-



«Дом на углу». Дом Бажовых по улице Чапаева, 11, в Свердловске

чением — да. Он совсем не смотрел на людей как на ангелов и умел им объяснить, чего они с его точки зрения стоят, но делал это всегда не обидно, с большим чувством такта. Как-то пришел к нему начинающий писатель. Это был человек средних лет, и принес он не тонкую тетрадку стихов, а толстенную рукопись романа, написанного идеальным каллиграфическим почерком. Отец начал читать сразу. Его привлек почерк. В те времена он уже видел плохо, и его просто восхитила прекрасно выполненная рукопись, но с первой же страницы он начал хмуриться, вздыхать, проводить рукой по волосам, бросил, снова принялся, не выдержал и стал жаловаться:

— Какое убогое графоманство! И как человеку не стыдно!

Но рукопись не бросил и упорно читал. Через несколько дней автор пришел за ответом, а так как я слышала отзыв отца о рукописи, мне было интересно, как будут развиваться события, как удастся все объяснить автору, и я вертелась возле, как будто у меня неотложные дела в отцовской комнате.

Сначала разговор велся неторопливый и не относящийся к делу. Однако из этого разговора отец выяснил, кто перед ним сидит, чем он занимается, о чем думает и мечтает в те минуты, когда не пишет свой длинный роман. Потом отец сказал ему все напрямик. Он сказал, что роман никуда не годится, разве только печки разжигать, но что десять страничек из романа свидетельствуют о том, что у автора есть глаз, способность наблюдать и передавать увиденное своими глазами, а то, что у него хватило терпения переписать от руки тысячу страниц, свидетельствует о трудолюбии, и, следовательно, эти два качества, а также его интересная профессия — залог того, что он может писать интересно, а писать надо, вероятно, вот о чем. И они занялись детальным и подробным обсуждением того, о

чем стоит писать человеку этой профессии с его жизненным и производственным опытом. Расстались они лучшими друзьями. Автор вопреки всем моим ожиданиям ушел не только не обиженным, но совершенно сияющим. Он даже меня за что-то благодарил, с чувством пожимая мне руку и повторяя:

— Спасибо, спасибо.

И он действительно стал писателем. А о том, что он сохранил благодарную память об отце, свидетельствуют его воспоминания, опубликованные в книге «Бажов в воспоминаниях современников».

Зрение отца все больше слабело. Теперь он не мог прочесть даже собственную рукопись. Печатал только на машинке, а при чтении писем к депутату прибегал к помощи мамы или моей. Я в то время училась на факультете журналистики, а позднее в аспирантуре Уральского государственного университета и выполняла для отца секретарские обязанности — разбирала и готовила к отправке депутатскую почту. Нужно было прочитать отцу два или три десятка писем, потом по его указаниям подготовить проекты ответов и вечером прочитать ему.

Выслушав, отец говорил:

— Неплохо. Но потеплее бы надо, да и почетче! Да-вай-ка добавим вот что...

Я сердилась и обижалась на отца за то, что никогда, ни разу он полностью не согласился ни с одним моим проектом, хотя я старалась копировать его прошлые ответы. Он всегда говорил «хорошо» и диктовал совсем другое письмо, не похожее на все предыдущие, хотя и просьба и слова писавших были такими же, как и раньше. Это напоминало мне, как в детстве отец на любое мое сообщение об отличных отметках говорил: «Ну, вот и хорошо» — и переводил разговор на другую тему. Похвастаться, «покупаться в славе» мне никогда не удавалось. Иногда я злорадно думала

про себя: «Ну подожди, вот получу двойку, интересно, что ты тогда скажешь!» — но угрозу свою так и не выполнила, потому что была честолюбива, а отец, вероятно, это знал и не хотел поощрять эту мою черту.

Как-то отец поручил мне отправить подготовленную и перепечатанную почту. Я взяла письма, положила их в портфель, намереваясь зайти на почту по дороге на факультет, но забыла это сделать. Поздно вечером отец спросил:

— Отправила?

— Ах, нет, забыла!

Отец нахмурился, как-то весь поник, молча встал из-за стола и ушел. Мы с мамой пошептались и решили, что сейчас к нему лучше не ходить, не волновать, и потихонечку разошлись. Я долго не спала. Чувствовала себя страшно виноватой. Тяжело было видеть отца таким, он редко обижался и сердился. Я прислушивалась к звукам за стеной с надеждой, что там привычно застучит машинка, но там по-прежнему было тихо, значит, не работает, не может... Рано утром я побежала на почту и, вернувшись, доложила отцу:

— Извини, пожалуйста, за вчерашнее, письма отправлены.— Он погладил меня по голове.

— Нельзя быть черствой. В каждом письме надежда, боль, беда, а ты... ах, забыла! Нельзя так!

Дела, на которые теперь уходило его время, были самыми разными: помочь человеку вернуться на работу, обеспечить кормом скот какого-нибудь заводского поселка, выяснить, справедливо ли обложили налогом охотника из северного уральского села, ответить на письмо старого однокашника, который отыскал ставшего теперь известным писателя Бажова и непременно хочет выяснить — Пашка ли он? Иногда это были дела государственные, вот, например, письмо, которое я написала под его диктовку в Совет

Министров Союза ССР с просьбой кредитовать строительство тепловой электростанции на базе Чувашского торфоболота и о восстановлении пострадавшей от пожара в 1949 году дизельной электростанции Красноуфимского ремонтно-механического завода.

В настоящее время назрела острая необходимость создания надежного энергисточника для сельского хозяйства Красноуфимского района и города. Энергосхема предусматривает строительство тепловой электростанции с использованием имеющихся запасов топлива торфяного месторождения. Возможность постройки электростанции вполне реальна. Запасов торфа здесь хватит с годовым потреблением в 80 000 тонн не менее чем на 50 лет.

Иногда это были литературные дела области и всего Урала. Много сил вложил он в создание на Урале литературно-художественного журнала. По этому поводу сохранилась переписка с обкомом ВКП(б), секретарем Союза писателей А. А. Фадеевым, обращения в ЦК ВКП(б).

Письма, которые он получал, не всегда требовали вмешательства депутата. Я часто откладывала те, которые, с моей точки зрения, в ответе не нуждались. Отец просматривал их и говорил:

— Да, тут ты мне действительно не помощник, давайка я сам. Вот ответ на одно из таких писем, «не требующих ответа»:

«...теперь о главном. Но здесь надо оговориться. Люди моего возраста уже забыли боль и страдания весенних бурь и вспоминают об этом с улыбкой грусти, как о прошлом. Вы, конечно, воспринимаете это со всей болью молодости, и вам может показаться обидным стариковское непонимание. Но, простите, с других позиций смотреть не могу.

Вот вы пишете о разбитой жизни, а я, смотря на ваш четкий, красивый почерк и припоминая отдельные детали

письма, думаю: «Эта выдержит!» Пожалуй, даже лучше, что без задержки открылось непривлекательное лицо мужа. Хуже, если бы это затянулось. А что он недостойный человек, для меня нет сомнения. Какой же это мужчина, если он не может решительно выбрать одну из женщин? В лучшем случае размазня, в худшем — прохвост, прикрывающийся любовью к детям. И в том и в другом случае некого жалеть. Ваши 25 лет не срок, когда подводят итоги жизни, а только ее начало. Было бы, разумеется, лучше, если бы не произошло этой незадачливой встречи, но и беды непоправимой здесь нет. Памятью об этой ошибке у вас останется девочка, которую вы так ласково описываете и тот «перегар страданий», который ведет человека от узко личного к общественному. Идти же вам есть куда, даже не выезжая из Бисерти, стоит лишь закрыть портрет недостойного человека заботами более высокого плана. Ведь жизнь в любом пункте нашей страны необыкновенно интересна и полна для всякого, кто искренне ею интересуется. Если не Бисерт, то выход имеется — хоть на запад, хоть на восток. Меня лично более тянет последний, там все ново, и все требует рук и большой советской работы. В то же время там еще в полной чистоте можно видеть красоты гор, могучих рек, первобытных лесов, бескрайнюю даль океана. И люди туда едут не те, что на запад... Вот и все. Жизнь впереди. Заботы и работы, как у всякого советского человека, много, и тратить время на переживания о том, что нельзя исправить, не стоит. Встречите людей несравненно выше того, кто вас так тяжело ударили. Чем скорее перережете эту ниточку страданий, тем лучше для вас, для девочки и для дела.

Итак, желаю вам хорошей, интересной жизни, без уныния и размышлений по поводу первой ошибки, но с учетом ее опыта в дальнейшем выборе, который, несомненно, будет».

Много интересных людей побывало в нашем доме в эти годы. С некоторыми из них у отца складывались особо теплые, дружеские отношения.

Дружба с Алексеем Петровичем Бондinem началась еще в 20-е годы, когда на Урале только возникали первые литературные объединения. Бондин был коренным тагильским рабочим и пришел в литературу со своими первыми художественными произведениями в начале 20-х годов. Отец редактировал одно из его первых произведений — «Лога». Деловые их отношения вылились в дружбу крепкую и уважительную.

Приезжая из Тагила, Алексей Петрович проводил у нас целые дни. Помню его высокую, жилистую фигуру, голубые, будто выгоревшие, глаза, легкие волосы, темную косоворотку. Бондин был страстным охотником, и разговоры их часто крутились вокруг охоты и рыбалки. Иногда Бондин оставался у нас ночевать, но не спал в доме, а брал подушку, одеяло и устраивался в саду, в гамаке. Маме это не нравилось. Она считала, что некрасиво выгонять гостя в сад в осеннюю холодную ночь, но Алексей Петрович и отец смеялись:

— Ему-то, привычному охотнику, не впервый под звездами спать! Не простудится, не волнуйся, Валянушка, — говорил отец.

Незадолго до смерти Алексея Петровича пришло от него письмо, непривычно ласковое для такого сдержанного человека, каким он мне казался, поэтому и запомнилось. «Я с большой радостью, — писал Бондин, — вспоминаю, как мы совместно работали над моей книгой «Лога», и с большим удовлетворением подсчитываю сумму всех твоих пожертвований, так для меня ценных... Пусть твоя ласковая рука напишет еще не одно произведение».

Казалось, писатель Евгений Андреевич Пермяк и отец очень разные люди. Один веселый, подвижный, выдумщик;

другой спокойный, уравновешенный, немногословный, но дружеские их отношения сохранялись много лет. Между ними всегда велся легкий, неутомительный, остроумный спор о творческих путях и возможностях каждого. Отец призывал не спешить в творчестве, быть точнее в знании и использовании материала, в деталях, а Евгений Андреевич поторапливал отца, посмеиваясь над его медлительностью, «кустарщиной». Прямым следствием влияния Евгения Андреевича на отца было начало регулярных дневниковых записей. Начиная с 1943 года, когда отец начал печатать на машинке, он стал вести записи событий дня, записывать впечатления о встречах с людьми, разговоры, задумки сказов — все это попадало на странички «Отслоения дней» — так он назвал свои дневники¹.

Самые тяжелые дни для нас мы провели в семье Евгения Андреевича и Марии Степановны. У них на Мерзляковском переулке жила мама последние месяцы жизни отца, отсюда она каждый день уходила в переулок Грановского, в больницу, сюда мы пришли 3 декабря 1950 года, когда отца не стало. Здесь мы видели внимание и чуткость подлинных друзей.

Дружил отец и с Виктором Васильевичем Данилевским, ученым, историком, членом-корреспондентом АН Украинской ССР. В. В. Данилевский много написал об истории Урала, о его умельцах и изобретателях. Работал он быстро. Составлял картотеку с помощью аспирантов, в архиве просматривал документы и тут же отдавал на машинку нужное, текст книги диктовал стенографистке, а потом правил стенограмму. За довольно короткое время он подготовил и опубликовал такие работы, как «Русская техника» и «Ползунов».

¹ Значительная часть «Отслоения дней» опубликована, а часть хранится в архиве писателя.

Отца удивлял и восхищал такой метод работы. Мне он советовал учиться, а о своем «кустарном» методе говорил с сожалением: «Что поделаешь, привык даже конверты сам заклеивать, ни на кого не надеялся», — но менять его не собирался, хотя и понимал, что времени осталось немного и все планы осуществить не удастся.

«Как-то обидно, что жизнь такая коротенькая, а спешить все-таки нельзя», — писал он в одном из писем Е. А. Пермяку. — По подстрочникам только не поймешь марийский фольклор, по трем, пяти книгам не станешь в курсе особенностей края».

Во время войны Виктор Васильевич Данилевский жил на Урале. Вместе с женой он часто бывал в нашем доме... Естественно, разговоры чаще всего велись вокруг истории Урала, которую и тот и другой хорошо знали. Нередко отец нападал на Виктора Васильевича, в его лице упрекая всех исследователей, недооценивающих технических открытий прошлого.

— Нельзя смотреть на старину с высот техники современности. Недооцениваем мы открытий наших великих предков. Вот возмите, например, «азиатский ковш» — он произвел переворот в золотопромышленности, равного которому не было в истории золота. Это изобретение привело к счету добываемого золота с килограммами на тысячи пудов. Брусницын — изобретатель не только в общерусском, но и в европейском масштабе. А мы часто говорим снисходительно о наших предках «терпеливые, выносливые, смекалистые». Нельзя открытия прошлых лет заслонять объемом современных работ и открытий...

Историческая тема, особенно в уральском преломлении, всегда волновала отца.

«История Урала и его горнозаводская промышленность, в сущности, совсем еще не начата», — писал он в письме к И. К. Устинову. — То, что мы имеем в порядке литератур-

но-исторического наследства, далеко не удовлетворяет, а во многом требует поправок не в мелочах, а по существу. «Кыштымский зверь» был не только зверь, но редкий мастер и организатор, воплощавший в себе сложные навыки старых крепостных рабочих. А сколько таких мастеров у нас не названо, не показано, хотя материал о них, как показал недавний опыт советских историков, можно найти в заводских архивах, если эти архивы прочитать по-новому, советским глазом».

Он очень интересовался работой Б. Б. Кафенгауза по истории хозяйства Демидовых. В письме Борису Борисовичу он выражал свое нетерпение увидеть книгу и говорил, что он в первую очередь ждет.

«Особенно меня интересуют первые демидовские специалисты горнорудной и металлургической промышленности. В частности, покупка беглых душ и преследования Акинфия Демидова родовитыми барами типа гр. Салтыкова, кн. Вяземского, а также его недады с духовными властями из-за кадров. Да и о самом Акинфии после выхода в свет Вашего труда, вероятно, можно в художественной литературе писать не так, как это делается сейчас, когда черная тень эксплуататора закрывает почти полностью то положительное, что делает этого «фундатора многих заводов» одним из важнейших сподвижников Петра. Приказчики приказчиками, но ведь они не с неба сыпались. Их подбирал и оценивал, а может быть, и готовил Акинфий, и одно это — такая заслуга Акинфия, о которой надо знать широкому читателю. А столкновение с Татищевым, где «умный мужик» порой кажется более государственным деятелем, чем его просвещенный противник, не сумевший отрешиться от идей ведущей роли шляхетства... Разве это не заслуживает научного разбора и литературного показа?»

Незнание исторического материала всегда оскорбляло

и удивляло отца. О первом варианте романа Е. А. Федорова «Демидовы» он писал очень резко:

«Получается какая-то окрошка из несвежих продуктов, приправленная искусственной идеологической сметаной в виде большевиков начала XVIII столетия и обильно посыпанная упругими грудями, широкими бедрами, пухлыми губами, тугими икрами и прочей этого вида зеленью, словом, нечто недостойное ни автора, ни темы...

Мы ведь избалованы своими историческими романистами: не только у первоклассных, но и у второстепенных и даже третьестепенных редко можно встретить деталь, слово, жест, которые бы не были документально обоснованы. К этому русский читатель привык, и многие, что греха таинить, историю знают больше по таким романам, чем по другого вида исторической литературе. Каждый предполагает, что раз человек берется за широкое полотно романа, то, конечно, изучал материал всесторонне. Может быть, даже побывал на месте, как Пушкин, или подобрал специальный словарь, как Короленко к «Набеглому царю», перерыл уйму книг делового порядка. Читатель верит, что действие будет происходить в исторически правдивой обстановке. Роман «Демидовы» в этом отношении новинка. Здесь ничему нельзя верить».

В письме к Комарову он писал:

«По своей склонности к историческим темам прочитал в первую очередь поэмы. Особенно меня задел «Владимир Атласов». Как-то еще в пору гражданской войны мне случалось на перевале от томского урмана к енисейской тайге слышать любопытные разговоры о Камчатке. Случалось даже рыться в печатных материалах, но потом это забылось, а вот теперь снова вспомнилось.

Основная идея предания не та, что определяется у вас. Это, конечно, неплохо, но вот смущило меня, что и в печатных материалах разнобой».

Иногда отец рассказывал Виктору Васильевичу о своих планах. Им давно была задумана повесть «Атаман Золотой» об одном из первых крепостных уральских интеллигентов, сподвижнике Е. Пугачева Андрее Плотникове. Был у него и рабочий план, и основные герои, и подборка материалов. Не хватило только времени.

«Опоздал я с этим материалом. Теперь уж не сделать, пожалуй, так, как бы хотелось. Старею. Работа не особенно гладко идет,— жаловался он,— да и занят как-то уж очень, посидеть, подумать некогда». Творческие его планы выполнялись медленно.

Как-то мне пришлось присутствовать при разговоре отца с Е. А. Пермяком. Евгений Андреевич укорял отца, что сценарий «Ермаковы лебеди» не готов к уговоренному сроку, что сказ, который он обещал библиотечке «Огонька», не написан, что задуманная повесть об атамане Золотом еще и не начата, автобиографическая повесть «Крашеный панок» дальше названия не пошла...

— Вы прежде всего писатель, Павел Петрович, а потом уж депутат. Есть у вас один приемный день в облисполкоте — и будьте любезны все туда. Там сидит депутат Бажов и решает депутатские дела, а все остальное время он пишет. Не забывайте, что время не ждет, вам идет седьмой десяток,— наступал Евгений Андреевич.

— Ох, не забываю, Евгений Андреевич, и рад бы, да не получается,— грустно усмехается отец.— А спешить все-таки не могу. А что касается моих депутатских дел, я вам вот что расскажу. Во время войны пришла на прием к депутату, Герою Социалистического Труда, который, между прочим, делом занимался — на оборону страны работал,— избирательница. Привела с собой трех ребятишек мал мала меньше и говорит: «Вот, товарищ депутат, отец их на фронте сражается, мне в ночную смену на завод, а если только через полгода обещают, так пусть они пока

тут у вас побудут»... вот так-то! А я что такой избирательнице ответить могу? Подождите, не до вас? Я тут по мелочишкам занимаюсь, старину перебираю?.. Нет! К депутату с живым делом идут, с которым ждать нельзя.

Хорошо помню приезд к нам Алексея Александровича Суркова. Он только что вернулся с фронта и приезжал на Урал как военный корреспондент. Пришел он к нам в дом как уже старый знакомый. Провел ведь день, в основном сидя на старом бабушкином сундуке возле конторки отца. Разговор шел о войне, о событиях на фронте, больших и малых, о героизме, о перспективах. Отец слушал жадно, расспрашивал, курил. Беспрерывно набивал трубку самосадом, дым от которого оседал на стеклах синим масляным налетом.

Алексей Александрович так и не ушел в гостиницу, а остался у нас ночевать. Еще на рассвете из комнаты отца доносились голоса. И послал он немного на том же коротеньком бабушкином сундуке.

Многие писатели оставили теплую память о себе. На титульных листах книг, подаренных отцу, в письмах, к нему обращенных, написано много ласковых слов.

«...сыновне приветствую вас. Простите что не был на вашем торжестве,— писал П. Павленко.— Лечу в Америку. Радуюсь вашему творческому многолетию, завидую ему и рад, что являюсь вашим современником».

«...я вновь и вновь их (сказы, ред.) перечитываю, подлинно наслаждаясь и богатством выдумки, и слаженностью сказов, и сладкозвучным русским языком... С пожеланием творческого настроения и душевного покоя Ваш неизменный почитатель Игорь Грабарь».

«...дорогому Павлу Петровичу с любовью, Мариетта Шагинян.»

«.....спасибо за ваши сказки, Сергей Михалков.»

«...автору «Малахитовой шкатулки», который открыл

секрет создания сказки, тысячелетиями хранившийся в тайне. Немного открытий равных по значению вашему. Спасибо вам за это от одного из тех, кому сказка близка и мила... Дмитрий Нагишин».

«...обладателю волшебной «Малахитовой шкатулки» от очарованного Федора Гладкова».

«...самому лучшему, самому настоящему из всего, что я «добыл» на Урале, Лев Кассиль».



Война, как и в каждый дом, пришла к нам бедой. Правда, никто из нашей семьи не погиб во время Великой Отечественной войны. Первого сына совсем маленьким родители потеряли в осажденном колчаковцами Камышлове, второй тоже ребенком умер в тяжелые голодные годы гражданской войны, а третий, Алеша, погиб в 1937 году на практике в Кировграде. Остались только три дочери. Старшая, Ольга, проводив мужа в армию, приехала к нам с четырехлетним сыном Бовкой и работала на заводе РТИ сменным инженером. Работала по 24 часа, приходила черная от неотмывающейся резиновой копоти, несколько часов спала и снова уходила на завод. Средняя сестра, Елена, вместе с мужем всю войну работала на заводе в Комсомольске-на-Амуре, куда они вместе уехали еще в конце тридцатых годов с первыми комсомольскими эшелонами. Я кончила школу, ездила на уборку картофеля, дежурила в госпиталях и как член бюро Октябрьского РК ВЛКСМ организовывала воскресники на заводах и отчаянно голода. Мама изоштрялась, чтобы чем-нибудь нас накормить, хотя бы лепешками из редьки или разогретой старой квашеной капустой, но порой и этого не бывало.

А люди все прибывали и прибывали в Сверд-

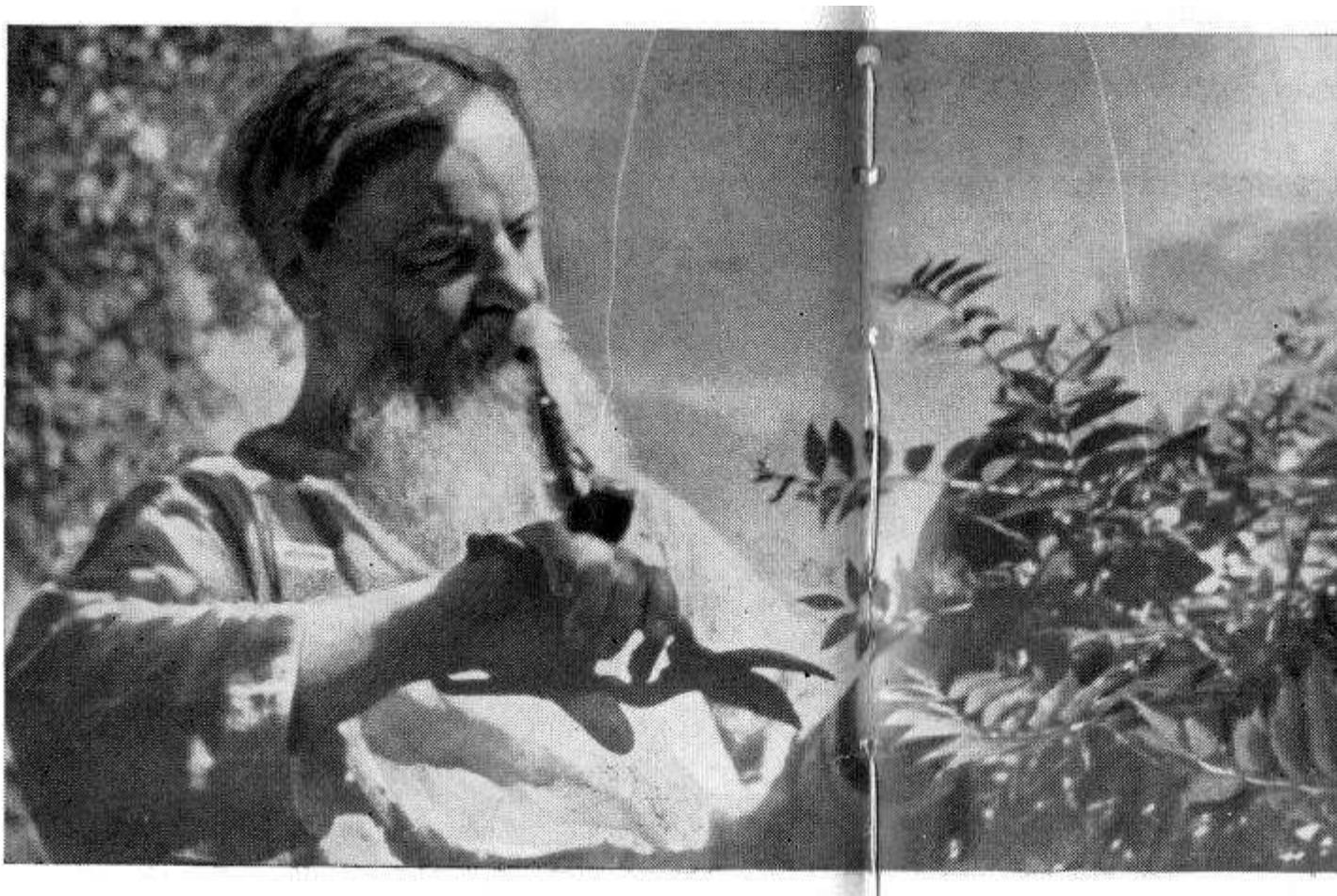
ловск. Начали приходить эшелоны из Ленинграда с людьми, истощенными до крайней степени. И у нас в доме в одной из комнат поселилась семья, эвакуированная из Москвы.

Отец, похудевший и почерневший, совсем не бывал дома. Прибывали писатели из Москвы, Ленинграда, с Украины, возвращались с фронта раненые. Всех надо было не только разместить, но одеть, накормить и, что самое главное, дать хотя бы элементарную возможность работать.

Вспоминая, каким был в эти тяжелые военные годы отец, Ф. И. Гладков писал: «Около него люди чувствовали себя спокойно, будто его доброта и обаяние и спокойная уравновешенность заставляли людей быть спокойней и внимательней друг к другу».

«Каким-то особым влиятельным спокойствием веяло от некрупной на вид фигуры П. П. Бажова,— пишет Л. А. Кассиль, также в военные годы познакомившийся с отцом.— Бажов говорил очень тихим, глуховатым голосом, медленно и обдумчиво выбирая слова, с легким, характерным для уральского говора, чуть вопрошающим «оканьем». И чувствовалось, что за каждым словом простирается хорошо взвешенная, проверенная на огромном жизненном опыте мысль. Непоколебимого и мудрого спокойствия был исполнен взгляд его... И вдруг где-то из-под самых бровей, весело шевельнувшихся, на вас светится такая лукавая и озорная хитринка, что невольно делалось веселее на душе...

При Павле Петровиче Бажове неудобно было суетиться, произносить трескучие фразы. Сейчас же человек, который пробовал бы быть слишком расторопным и речистым при Бажове, натолкнулся бы на смешливый, быстро колющий и снова прячущийся под мохнатыми бровями, умный, все понимающий взгляд. Сам Павел Петрович



П. П. Бажов в саду

очень бережно обращался с такими словами, как «революция», «партия», «народ».

А «Малахитовая шкатулка» печаталась. В замаскированной темной и холодной Москве печатались сказы о древнем Урале. Печатались они потому, что так хотели те, кто сражался.

— Я сначала колебался,— вспоминал впоследствии отец,— кому сейчас, в это суровое время, нужна сказка, но с фронта написали: «нужна», «пишите», «ждем новых»...

И он писал при свете маленькой коптилки, окончательно губя зрение. Скоро появились сборники, в которые вошли новые сказы о русском человеке, о его уме, споровке, таланте. Бажковские книги были нужны на войне. Об этом писали фронтовики, за них благодарили писателя, потому что они были проникнуты верой в человека, в его силы, талант, доброту, справедливость, потому что в них описывались те края, которые для многих воевавших были олицетворением Родины.

Уже после войны в доме у нас побывал Борис Николаевич Полевой. Тогда же он рассказал отцу, как впервые познакомился с «Малахитовой шкатулкой» на фронте. Это было во время тяжелых боев на Висле, на маленьком клочке земли, который удерживал один батальон. Комбат — маленький, загорелый, совершенно осипший человек с худым нервным лицом, не спал уже несколько суток, и вот ночью писатель увидел, как этот человек, который в течение пяти дней нес на себе непосильную тяжесть, руководя обороной плацдарма, вместо того чтобы в эту редкую минуту отдохнуть, заснуть, «тихо прошел мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать, страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно. Это было так странно, что, забыв о сне, я из своего угла следил за ним. По мере того как он читал, его напряжен-

ное, нервное лицо как бы отходило, преждевременные морщины разглаживались на нем, оно становилось спокойным и точно бы молодело. Читал он с полчаса, потом закрыл книгу, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеком от его беспокойных фронтовых дел, вздохнул, убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось. Немцы внезапно обрушили на плацдарм огневой удар... завязалась ожесточенная огневая дузль.

Плацдарм удержали, но самого майора утром принесли на шинели. Он был убит наповал очередью из автомата. Офицер, заменивший его, вручил мне для передачи в полтораны части его ордена, партбилет и полевую сумку. И мне захотелось узнать, что же так внимательно читал этот воин ночью в последние часы своей жизни...

Странная это была книга. Все в ней удивляло с первых же строк — и язык сочный и своеобразный, и необычность действующих лиц, и какое-то удивительное и в то же время ненарочитое переплетение двух миров — реального и сказочного, наконец, своя, особая, ни на кого не похожая, простая и пленительная именно этой простотой ма- нера письма».



Самые разные люди бывали в доме на углу Чапаева и Большакова в гостях у Бажова. Писатели и поэты, сысертьские рабочие и инженеры с Уралмаша, актеры и колхозники, учителя и академики, пионеры и журналисты, солдаты и генералы. Всех угостили одинаково: домашней квашеной капустой, по которой мама была большим мастером, маринованными уральскими грибами, пирогами и водкой из дымчатого пузатого графинчика или чаем из самовара. Велся тихий неспешный разговор. Отец глухо покашливал, слушал, а когда говорил, люди замолкали и не только из

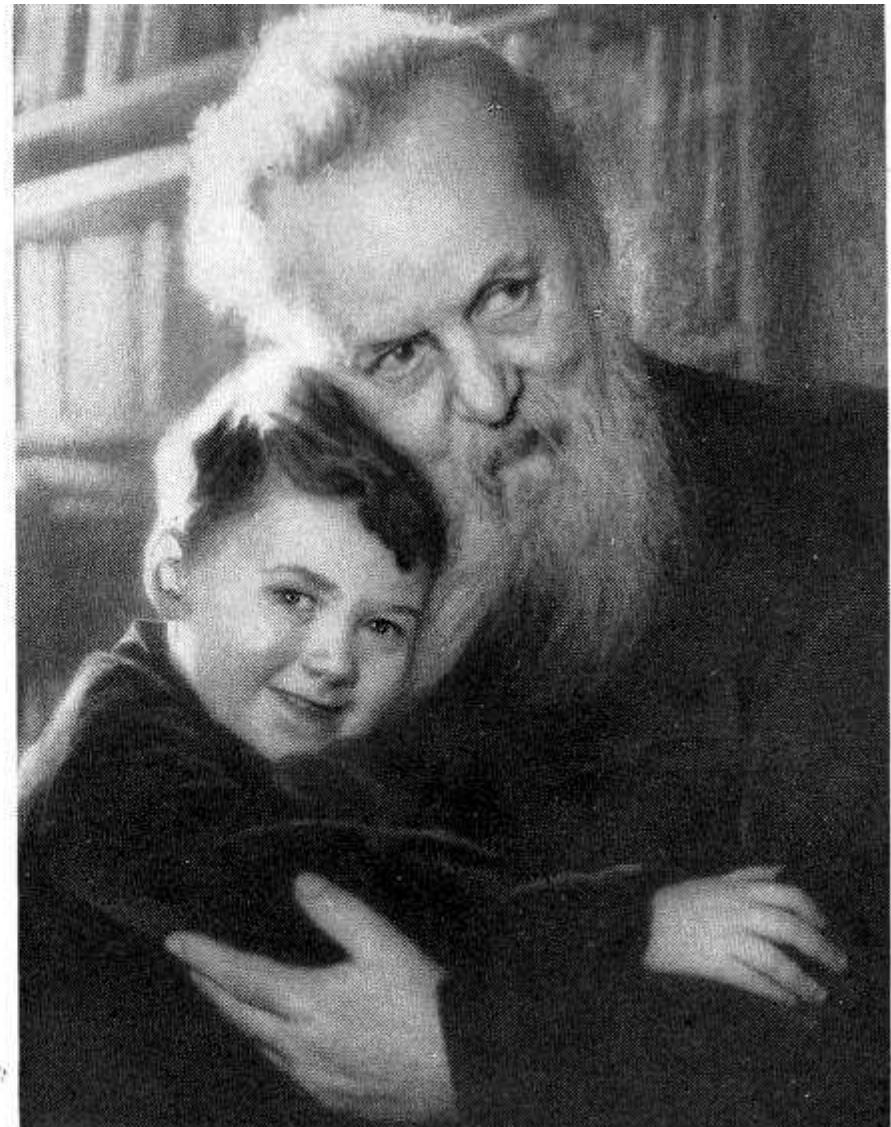
уважения к его возрасту, а прежде всего потому, что слушать его было всегда интересно.

Я часто думаю, почему отец и в кругу семьи и среди рабочих, молодежи, академиков и крестьян всегда был интересен и становился центром внимания. Он никогда не повышал голос, никого не перебивал, никому не льстил, не подлаживался под собеседника, он оставался всегда самим собой — тихим, скромным, спокойным, умеющим слушать и уважать мнение собеседника. Наверное, это происходило потому, что запас его знаний был велик, у него всегда было, что сказать собеседнику и интересно что-то у него узнать.¹ Он не задавал вопросов «из любезности», чтобы тут же выбросить ответ из головы. Он спрашивал только в том случае, если ему было действительно интересно, и говорил всегда о своем и по-своему.

Скромность его была не той, о которой говорят «скромность паче гордости», а естественной, природной. Показательен для отца случай, о котором рассказал Юрий Яковлевич Хазанович, много лет работавший вместе с ним в Свердловском отделении ССП.

— Как-то получаем мы письмо за подписью орг. секретаря Союза, в котором мне и К. Мурзиди поручается подготовить проект очень ответственного документа. Заканчивалось письмо так: «Это распоряжение Бажова». А внизу рукой Павла Петровича написано: «...все верно, только не распоряжение, а просьба. П. Бажов». И правда, слова «распоряжение», «приказ» как-то совсем с ним не вязались, он не умел их употреблять, но, с другой стороны, по себе знаю с детских лет: то, о чем просил, именно просил отец, делалось неукоснительно и без замедления.

П. П. Бажов с внуком Никитой



От похвал в свой^й адрес он всегда ежился и старался их тотчас же снять или шуткой, или переведя разговор на другую тему. В одном из писем тов. Астафьеву в ответ на похвалы в адрес «Малахитовой шкатулки» он писал:

«Большое спасибо за фотографии и приятное письмо, за пожелания. Словом, за все, кроме заключительного комплимента. Это лишнее. Мы, журналисты, должны обходиться без этого. Все же знаем, что всякий, кто не ленив, по хорошему материалу может сделать вещь, если предоставят время. Рассказы наших старых рабочих, как вы знаете, представляют редкий по качеству материал, и моя задача здесь сводится лишь к тому, чтобы не отклоняться от народного в изложении и подчеркнуть те точки, которые занимательны для современного читателя. Время и труд, конечно, требуются, но говорить об одаренности излишне и даже вредно. Поднимая одного автора, можно оттолкнуть других, а ведь собирать эту уходящую народную историю труда надо как раз многими руками и надо с этим спешить».

«Еще раз благодарю за присылку книги и напоминание о забытой теме. На вас я все-таки сетую,— писал он поэту К. С. Комарову,— за преувеличенную любезность надписи на книге. Неужели сказалась близость Китая — «сын солнца», «цвет земли»... и прочее».

В книгах о Бажове часто пишется «он любил детей», это справедливо, но только с одним оттенком. В детях он прежде всего видел людей и соответственно к ним относился. С детьми любого возраста он разговаривал как равный. Ни маленькой девочке, ни взрослому юноше он никогда не говорил «ты еще маленькая, подрастешь — узнаешь», «вы еще молоды и не можете знать того, что пережили мы, старики». Собеседнику любого возраста он давал высказать свое мнение и уважительно, с учетом возраста, отвечал.

Я не помню, чтобы кому-нибудь из своих детей отец сказал: «Не вмешивайся, не твое дело». Наоборот, я твердо знала, что у меня в семье есть право голоса. И какие бы сложные семейные или даже творческие вопросы ни обсуждались на семейном совете, отец спросит: «А ты, Ридчёна, как думаешь?» Независимо от того, сколько мне лет — семья, двенадцать или двадцать два.

Своему старшему внуку Володе, в то время ученику третьего класса, которому плохо давалась арифметика, девушка писал:

— Еще из своей учительской практики помню, что хуже всего запоминается 7×8 , 8×7 , 7×9 . Ты напиши эти цифры на большом листе бумаги и повесь на стенку. Так скорее запомнишь. Как себя чувствуют бабушка и мама? Ты теперь единственный мужчина в семье. Заботься о них.

Внук Никита был еще совсем мал, но и для него дедушка находил нужные и понятные слова. Никто не мог толком объяснить, почему петушок бегает по снегу босиком, а девушка мог. Никто не мог объяснить, почему день сменяет ночь, а ночь день, а дедушка мог.

Как раз в последний год жизни деда Ника переживал «почемучный» период. Все в доме уставали. «Ах, почему, почему, не знаю я, почему!» — то и дело восклицал кто-нибудь, только дедушка терпеливо и подробно отвечал на все «почему», и Никитка, едва заслышав его шаги, радостно бросался навстречу:

— Дедушка, мама не знает, а почему?..

Контакты с детьми устанавливались мгновенно. Часто ребята подходили к отцу просто на улице. Подойдет какая-нибудь девочка, повернется к нему лицом и, не говоря ни слова, идет, пялясь задом. Мальчишки, как правило, были предприимчивее.

— Это вы, дедушка Бажов? — спрашивал какой-нибудь восьмилетний паренек в картузе.

— Я, а ты кто?

— А я Витяка!

— Ну вот, Ридчёна, познакомься, это мой новый приятель.

— Ты как, Витя, с нами пойдешь или у тебя дела?

— Да нет, с вами пойду.

— Ну, так пошли тогда. Тебе куда надо-то?

— Да просто вас проводить.

— Ну вот и спасибо тебе. А то вот я вижу плохо, так ты мне подскажешь, где мостик, а где канавка. А ты, Ридчёна, тогда на трамвай беги, ты ведь торопишься, мы с Виктором не спеша дойдем, верно?

— Конечно, дойдем. Там впереди бо-о-ольшая канава, так я могу вам и руку дать, а то хотите, буду портфель нести?

— Да нет, спасибо. Это я и сам донесу, а ты мне лучше вот что скажи, как ты смотришь?..

В большой аудитории отцу было труднее. В детстве он перенес тяжелую горловую операцию, и голос у него был глухой и тихий. Поэтому выступать в детском театре, Дворце пионеров или большой школе ему было тяжело, но он никогда не отказывался.

— Ребята приглашали. Надо пойти!

В 1946 году вышел на экраны фильм «Каменный цветок». О нем много говорили и писали в то время. Он обошел не только экраны нашей страны, но и зарубежные столицы. Мне, например, привелось посмотреть его, разумеется, не в первый раз, в огромном кинотеатре «Ла Рампа» в Гаване в 1962 году, а совсем недавно, в январе 1969 года, в Белграде. Спустя двадцать с лишним лет фильм еще не сошел с экрана, хотя, разумеется, постарел и смотрится совсем не так, как раньше.

Отец страшно волновался по поводу фильма. Гораздо больше, чем по поводу своей литературной работы. Еще

задолго до выхода фильма бывали у нас в доме и операторы, и художники, приезжавшие на натурные съемки на Урал. Отец составлял маршруты, рекомендовал те места, которые считал самыми показательными и очень обижался, когда пожелания не учитывались.

— Это же чистая Украина, да к тому же еще и лубочная. Уралом и не пахнет,— огорчался он, просматривая заготовки.

— Ну что за народ, право,— говорил он, вернувшись из Потылихи со съемок фильма,— для них брови чернить и губы мазать надо, по меньшей мере, в три слоя. Стоит только их разговоры послушать:

— Вася, ударь старика пятисоткой по щеке. Да не по левой, по правой, чтоб тепло было. А ты мраку нагоняешь.

— Прицелься на ту кругло лицу, что четвертой стоит. Подсвети снизу, чтобы курносой казалась, и держи метра на два! Пусть зритель запомнит это лицо.

— Саша, мы тебя с макушки осветим. А ты как почувствуешь тепло, вышагивай по-геройски, да не забывай, что спина твоя тут главный актер.

— Вот так-то,— вздыхал отец,— в кино все так «ударяют для тепла», «подсвечивают для наивности», «играют спиной», подбирают расцветки рубах и штанов по гамме цветов. Нет им дела до тончайших переходов красок уральского пейзажа, в котором нет ничего крикливого. Вот, может быть, он дождется той поры, когда кино будет передавать краски подлинной жизни,— поглаживал он ласково маленького внука Никиту, сидевшего у него на коленях.

Был он рад и не рад выходу фильма. Его раздражала характерная для манеры тех лет помпезность. Но нравилось главное — неторопливая сказовая манера. Он радовался тому, что и взрослый зритель может смотреть сказку наравне с детьми, но с другой позиции.

В 1949 году очень торжественно был отмечен в Сверд-

ловске, в Москве, в центральной печати семидесятилетний юбилей отца. Зал Свердловской государственной филармонии был переполнен. Много торжественных и смешных подарков. Отец растроган, благодарен, взволнован. Начал он говорить медленно, как будто еще не знал, о чем сказать.

— ...Мы всегда досадливо оглядываемся на камень, за который запнулись на пути,— начал он,— но почти никогда не вспомним с благодарностью о тех людях, которые протоптали нам широкую и удобную тропу через лес или через топь. Для меня эту тропу в жизни проложила моя жена Валентина Александровна, которая взяла на себя все житейские заботы и тяготы, которые так осложняют жизнь. Благодаря ей, я прошел жизнь по утоптанной тропе и мог спокойно работать...

Потом он благодарили друзей, литераторов, журналистов, издателей и читателей за внимание к его работе и за помощь. И вновь повторял то, что говорил всегда:

— Отношу слова благодарности, разумеется, не к себе, а к тем безвестным творцам, материал которых дошел до меня и стал известен читателям. Моя роль в этом второстепенная...

После юбилея отец заболел. Долго лежал и в больнице, потом в зимнем санатории. Вернулся домой, но все ему как-то нездоровилось.

«Все-таки со мной делается что-то неприятное,— писал он в письме А. М. Ступнику.— Зимний санаторий ничего не изменил. Так казалось скучно от безделья и санаторного режима. Приехал домой, а рабочего настроения нет. Стремлюсь преодолеть долголетней привычкой, но пока результатов не вижу и быстро устаю. Видно, возраст берет меня сильнее, чем я его. Ну, все-таки еще поборемся».

Грустные нотки все чаще проскальзывали в словах и письмах отца.

— Не те сны пошли,— рассказывал он, просыпаясь.— Смолоду, знаешь, вверх тянет, и всяк этому рад. Либо во сне на крутую гору взбежит, либо по лестнице чуть не до солнца взберется, а то и полетает на просторе. После таких снов и днем кажется, что ты легче стал.

В старости другое снится. Видишь ту же лестницу, да по ней надо спускаться, а она под тобой подгибается либо кончается обрывом. Кверху не поднимешься и вниз бросаться не хочется, висишь на руках и думаешь: а ведь долго не продержаться. На весь день после такого сна усталость чувствуешь.

10 декабря 1950 года в морозный день мы похоронили отца на высоком холме, с которого виден Урал — леса и перелески, горы и пруды — все, что он любил, что всегда было дорого его сердцу, и вернулись домой... как он опустел, постарел, сгорбился и стал домом без хозяина. А на столе еще лежала его трубка, и на стеклах налет синевато-маслянистый от дыма, и в машинку заправлено незаконченное письмо:

«Уважаемый товарищ Ковалевский.

Ваш вопрос об упадке жанра рассказа мне показался неожиданным...»

Можно подойти к его письменному столу. Можно потрогать вещи, к которым он прикасался, можно прочесть неоконченное его письмо, можно, наконец, с ним не согласиться. Нельзя только одного — услышать его глуховатый голос, увидеть внимательные, ласковые глаза...

Вечером в доме собралось много народу. Сначала было тихо. Потом выпили. Голоса стали громче. Говорить стали о том, что волнует каждого. Среди присутствующих был Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Его стремились расспросить о войне, напомнить о встречах. Одному из писателей маршал, как оказалось, вручал именные часы, другой журналист писал о нем очерк

в 1943 году, В. Кожевников и П. Ф. Нилин наступали на маршала, упрекая его в том, что он не пишет воспоминания и что это нельзя откладывать. Голоса становились громче...

Мама сидела молча, ко всему безучастная, а мне стало страшно обидно, что вот уже и забыли, и речь идет о другом, и никто не помнит, по какому поводу собрались здесь в этом доме сегодня. А в ушах зазвучал голос отца:

— Ридчёна, что приуныла? Такова жизнь!

Вспомнился давний наш спор. Я утверждала, что русский похоронный обряд с поминками — варварство, жестокость по отношению к близким умершего, а отец говорил:

— Совсем ты не права! Во-первых, близким тяжело оставаться одним с теми же мыслями о невозвратимости утраты. Они благодарны людям за то, что те пришли, выпили, вспомнили человека добрым словом и перешли к очередным делам. Потом, между прочим, вспомнили, что он петь любил, и запевали песню сначала грустную, а потом и повеселее... кто-нибудь вспоминал, что он в молодости плясун был... и вот уже пошли пляски... и жизнь продолжается, идет вперед!

• • •

Сегодня 28 января 1969 года. Отцу было бы 90 лет. Вечером я с 12-летним сыном Егором, самым младшим внуком Бажова, который никогда не видел своего деда, еду из Белграда в Сараево, столицу республики Боснии и Герцеговины, смотреть балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок» в постановке Сараевского театра. По дороге я расскажу Егору, как двадцать с лишним лет назад

Автограф П. П. Бажова

84

— 92 —

Пороже каша болота, член в горловине чисто горя! Былого зверища, что ли, оставшись за буяном между ними, все от неизвестной драмы до отчаяния, смирились, согнувшись, склонивши головы в басе, своим образом, брошен, изгнан, изгнан и брошен. Но не прошло такому, как о пот-
упах в бывшем. Чем же же настолько не-
запомнилось о Твоем, как бы там, не прошло он-
своеческое то время бесчестия и горючее, то
что настолько же все чисто забыто. Потому как
для нее, прошедшему времени свою суть и
сущность спасительную нашею было, движимое
рекордом природы, как итога и редкости жизни.
Но впереди было еще множество забытий че-
рез, что Твойе сущие друзья заслужили
многочисленных Твоих и ревнителей. Но-
и мой отрок мой чистый сердце занес. Он-
же наше чистое существо воспоминания забытства
был, где для всех чистых заслужил забытие
хотя чистота чистоты боялась забыть, не-
хотя чистота чистоты от забытия боялась от-
дать споров забытию. Также в Твоем от-
роде, забытые и забытые заслуги, то-
же, какими же чистотами пропадают
заслуги чистоты, тогда руки чисты
и чисты, чисты, чисты и отданы заслугам, где-
лии чисты.

его дед вернулся домой очень веселый и, лукаво улыбаясь в бороду, рассказал:

— Пришел ко мне, ребята, сегодня один чудак и говорит: «Я пишу музыку к балету по вашим сказам». Я, конечно, сказал ему самые вежливые слова, как полагается, а сам думаю, что же это получается! Данила говорит мастеру: «Не буду делать вазу по барскому чертежу!» — и делает ногой вот так!

— А Хозяйка Медной горы говорит: «Оставайся у меня, Данило-мастер!» — и делает ножкой пируэт в другую сторону!

И он при этом смешно выбрасывал ноги в высоких толстых валенках, изображая то Данилу, то Северьяна, то Катерину. Глаза его смеялись...

Когда я думаю об отце, то прежде всего вижу его глаза: то веселые, то задумчивые, то огорченные, но всегда глядящие на собеседника открыто и внимательно. И кажется мне порой, что они и сейчас смотрят на меня через все эти долгие годы.

89/22



ХРОНИКА

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА

- 1879 г.
15(27) января
- 1889—1893 гг.
1892—1895 гг.
- 1893—1899 гг.
1899—1908 гг.
- 1911 г.
1913 г.
- 1914 г.
- 1917 г., март-апрель
1918 г., февраль-июль
- 1918 г., 1 сентября
1918 г., октябрь-декабрь
- 1918 г., 25 декабря
- 1919—1921 гг.
- 1921 г.
- 1923 г.
- 1924 г.
1926 г.
- 1928 г.
- В Сысерском заводе Екатеринбургского уезда в семье рабочего пудлингово-сварочного цеха родился сын — Павел Петрович Бажов. Учеба в Екатеринбургском духовном училище. Семья Бажовых живет в Полевском заводе, где Павел Петрович впервые услышал сказы Василия Алексеевича Хмелиннина. Годы учебы в Пермской духовной семинарии. Работает учителем русского языка в Екатеринбургском духовном училище. Брак с Иваницкой Валентиной Александровной. Первое выступление в печати (Статья «Д. Н. Мамин-Сибиряк как писатель детей»). Вместе с семьей переезжает в г. Камышлов, где работает учителем русского языка. Избран членом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, членом ревкома. Работает уездным комиссаром просвещения, ответственным редактором камышловской газеты «Известия». Принят в ряды РКП(б). Вступает добровольцем в Красную Армию и принимает участие в боевых операциях на Уральском фронте. Во время боев под Пермью попадает в плен. Через некоторое время бежит из тюрьмы. Участвует в подпольной деятельности Усть-Каменогорской большевистской организации. Тяжело больной возвращается вместе с семьей в Камышлов. Редактирует газету «Красный путь» — орган уездного комитета РКП(б). Получает назначение в Екатеринбург в «Крестьянскую газету». Вышла первая книга — «Уральские были». Вышла из печати книга «К расчету» о событиях 1905 года в Сысерском заводе. В «Крестьянской газете» опубликована (в нескольких номерах) «Потерянная полоса».

1930 г.	Вышла книга «Пять ступеней колLECTИВИЗАции».
1931 г.	Назначен редактором Уралгиза и заведующим отделом сельскохозяйственной литературы.
1933 г.	Работает научным сотрудником уральского Ист-парта РКП(б).
1934 г.	Вышла книга «Бойцы первого призыва».
1936 г.	Написаны и опубликованы первые сказы «До-рогое имячко», «Про великого полоза».
1936 г.	Вышла книга «Формирование на ходу».
1939 г.	Вышла из печати книга «Малахитовая шкатул-ка», Избран ответственным секретарем Сверд-ловского отделения Союза сов. писателей.
1941 г.	Работает главным редактором Свердгиза.
1942 г.	Назначен главным редактором журнала «Ураль-ский современник».
1943 г.	В издательстве «Советский писатель» вышел сборник сказов «Малахитовая шкатулка». Постановлением Совнаркома Союза ССР при-суждена Государственная премия второй сте-пени за книгу «Малахитовая шкатулка».
1944 г.	Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в области литературы награжден орденом Ленина.
1947 г.	В издательстве «Советский писатель» вышла из печати первая книга о творчестве П. П. Бажова (автор Л. И. Скориню).
1950 г., 3 декабря	Смерть П. П. Бажова.

Бажова-Гайдар Ариадна Павловна

ДОМ НА УГЛУ

Редактор И. Шакинко. Художник А. Казанцев. Художественный редактор Я. Чернихов. Технический редактор К. Проскурникова. Корректоры С. Шварцберг, М. Казанцева.

Сдано в набор 15/IV 1970 г. Подписано в печать 24/VI 1970 г.
 НС 14250. Бумага мелованная. Формат 70×108/32. Уч.-изд. л. 3,80.
 Усл. печ. л. 3,85. Тираж 10 000. Заказ 196. Цена 37 коп.
 Средне-Уральское Книжное Издательство, Свердловск, Малышева, 24,
 Типография издательства «Уральский рабочий», Свердловск, проспект
 Ленина, 49.